

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ
ТОМ 3



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

СОДЕРЖАНИЕ

1. На заре туманной юности	3
2. О лампочке Ильича	17
3. Великий человек	23
4. Среди животных и растений	31
5. Фро	41
6. Свет жизни	53
7. Разноцветная бабочка (Легенда)	61
8. Сухой хлеб	66
9. Июльская гроза	69
10. Песчаная учительница	79

Андрей Платонов. Текст печатается по изданиям:

1.-9. Андрей Платонов. Течение времени. Повести, рассказы. М., Московский рабочий, 1971. С. 273-295, 334-356, 369-434, 447-462

10. Андрей Платонов. Песчаная учительница. Впервые опубликован в приложении к «Красной газете» — «Литературные среды», 1927, 28 сентября. Печатается по изданию: Платонов Андрей. Избранные произведения в 2-х т., т. 1. М., Художественная литература, 1978.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

1

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и составила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирию к циферблату и подумала: «Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает» — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Она знала, что ей четырнадцать лет и ее зовут Ольгой, но, когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко от нее, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он

помнил ее отца и мать, и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеные картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге поесть две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо, — сказала Ольга механику. — Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай, — сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее их простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга. — Меня родная тетка ждет...

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец. — Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это — далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится, — сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. — Надо бы взять ее, что ли...

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками. — В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз...

Ольгу посадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавают жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

— Тут твоя тетка живет, — сказали они. — Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет, — произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом под мышкой.

— Сыщешь, — ответил задумчивый красноармеец. — Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку, — поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи, — ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. — Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю, — согласилась Ольга. — А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но сперва никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я не побираюсь, я к тетке приехала, — сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету, — подтвердила женщина, — у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь открылась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела всю девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела, — произнесла Ольга. — Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала она. — Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица... И-их, нет, не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку — теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Ты ступай покуда посиди на улице, — указала она племяннице, — а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, — сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы, и между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы — они находились как раз против окон того дома, где жила тетка, — и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, — наступил вечер, и стало темно. Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынушем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железно. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она. — А мы уж думали, ты давно ушла...

— Я уморилась ждать, когда вы позовете, — сказала Ольга. — Я боюсь одна на улице...

— Ну иди уж, — позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду, — подумала Ольга. — Тут нельзя: скажут, ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны. — Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то! — воскликнула тетка. — У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а покроюсь своим платьем, — согласилась Ольга.

— Пусть ночует, — указал жене дядя, Аркадий Михайлович. — А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают тебе детей, а сами помрут, — вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

— Прокормит, — уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— «Прокормит!» — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. — Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу, — сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись доедай — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшеничную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь, — произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко, — ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. — Больше не буду, — сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела, — сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай, — пригласила ее тетка на сундук. — А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца, — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да видишь вон, — указала тетка на Ольгу, — лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня, — ответил ей муж, — делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей, — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пушу!.. Ну уж, милая, пускай черти крошечные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. — Ишь, уморилась, подумаешь, — вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга.

— А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала, — ответила девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка. — Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты и начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить... А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди — значит, тебе есть куда идти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду, — пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желания, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет — она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами мочёные кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии, — проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик. — Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть, — попросила Ольга. — У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а мочёнки ты уже все повиыташил...

Старик отдал свою кружку сироте:

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может, наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик. — А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся курсанты. На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах... Но глаза ее понемногу привыкали к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, — и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к учению работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро бедного народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, — она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала оттого, что это было хорошо, оттого, что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце.

Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин, — сказала Лиза. — Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом... Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: «Он уже старый, — подумала она, — как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли, — нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать». Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть, — еще озаботилась она. — Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, — и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

5

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, — по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наесться, но теперь она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, их столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали уплату стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяйек работы по домашнему хозяйству, — уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и поделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась:

— Ты учишь теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут, — сказала она. — А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить.

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю, — делов везде много, — грустно сказала Ольга. — А ты учишь, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу, — произнесла Лиза. — Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу, — пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем

месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу...

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка; Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы унести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить, — и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез пли их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену...

— Тетя, — обратилась Ольга, — дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж, — произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни. — Все одно, жить теперь мне не судьба... Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрешила ковригу пополам и половину хлеба взяла себе на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она. — Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею; она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Татьяна Васильевна. — Уж ты видишь, какая я стала — совсем на человека не похожа...

В общежитии Ольга застала Лизу; она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться, — сказала ей Ольга. — Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза. — Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра, — ответила Ольга. — Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила... Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет... Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, — у меня в животе щипало, есть хотелось...

— Что у тебя, кроме живота ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга. — У тебя сознание должно где-нибудь быть!

Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас их человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись на мгновение, улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Через два дома от общежития курсов Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену, — другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвратится под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку себе в рот, а другую ему, и так по очереди, иначе ребенок есть не хотел.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!» Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилалась глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька — старуха; она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался — он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

6

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришлось время расстаться...

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Сergyа, недалеко от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, — и они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «О-

В». Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек машине своим способом — как не надо на ней работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою, — говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну верно, — ухмылялся Подметко. — А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, — предлагал Подметко, — то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь, — сообщала ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно, — соглашался Подметко. — А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну это после, а сейчас ступайте, всю машину оботрите, чтоб блестела, а сами потом умойтесь, — что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе: грязь ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились; они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи, — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходило сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги ее успели обжечь за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай... У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издали. Ольга прислушалась к словам машины:

«Нет, — задумалась она. — Он говорит о том, что у него состав оборван...»

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поезда маршрута; по правилу все поезда маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему:

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу, — недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек: — Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимаясь от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналил об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу:

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо поскорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас, — в тревоге и поспешности сказал начальник, — сейчас мысль ко мне придет!

— Долго, — возразила Ольга. — Не надо, я сама знаю...

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватила за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз. — Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не успевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся... Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге, тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое...

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать, — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно, — ответил Подметко. — Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга. — Неужели она спит и не слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза, надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, увеличивающаяся на глазах от скорости.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать — тридцать вагонов; большая часть вагонов были открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало покрытое брезентами разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, — но им, одним вагоном, удержат состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщать в отделение службы эксплуатации о назревавшем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед.

Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся, — сказал он. — Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна, — ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой, — сказал он. — Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она. — Шуруй скорее топку! Ты завалил пламя углем, — что же ты со мной делаешь?!

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга. — Неужели я сейчас умру? Не хочется!»

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!» — решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос. Она обернулась к Ивану Подметко:

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок:

— Надо воду выбить — шибче поедем. — И он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: «Боже мой!» — как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад: «Что случилось?» — и тут же ощутила второй, громящий тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она сама себе. — Пусть песни поют, без тебя!» — и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала мертвую, уперлась на месте. Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всюю машиной, надавила задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирających вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста: «Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав! У меня записка в зубах была — где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?»

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливают чужая сила в железное тело горячего котла.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер на котел, но зато весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставивший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие; у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться.

Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку, — сказала Ольга. — А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут...

— Хорошо, — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. — А это кто Юшка?

— Ребенок, — произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал. Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла, — Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

О ЛАМПОЧКЕ ИЛЬИЧА

Моя фамилия Дерьменко. Идет она от барского самоуправства: будто бы предки мои в давнее время с голоду ели однажды; барские тухлые харчи — дерьмо, оттуда и пошло Дерьменко.

Наше село Рогачевка от города шестьдесят верст; расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань.

По преданию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимур-лык, по-татарски значит маленький сын Тимура. А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для своих коней. А Усмань у татар значит красавица. И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу гречанского рода, родил от нее сына Тимурлыка и ускакал бить балканцев. Гречанка от горя иссохла и умерла вместе с сыном-ребенком; вернувшийся Тимур так затосковал по своей скончавшейся любимой семье, что велел войску своему и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам Тимур носил и сыпал землю мечом.

И до сей поры у нас есть два жутких холма — один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода.

Вот что значит сердце человека!

Когда я гляжу на эти курганы, у меня начинается тоска, — и я чувствую в себе добросовестность.

* * *

Вот на этом знаменитом месте стоит наша Рогачевка — небогатое село.

От помещика Снегирева остался у нас сад в пятнадцать десятин — хороший сад, и деревья не старые. А как стало им пользоваться общество, вижу — гибнет сад: ни окопки, ни обмазки, никакого хозяйственного ухажерства, — плод еще зеленый, а уж ребятишки все вдрызг обломали, оборвали и поносом изошли.

А зимой зайцы кору лущат, — еще год, другой — и усохнет сад и пропадут чудеса его плодородия.

Думал я сильно, за всех, и враз схватила меня догадка:

— Надобно крепкую, мудрую артель — и взять у общества сад. А мужики подходящие есть.

И еще было у меня мечтание — построить у нас на Рогачевке электростанцию, и чтобы при ней была мельница с просорушкой и обойкой. Это было бы очень способно для крестьян. У нас стоят семь ветрянок — все у кулаков; берут по четыре фунта с пуда, да еще когда ветер, а в летнее время ветры жидкие, — иной раз с голоду насидишься, хоть и есть зерно. Да и электрический свет даст селу интересное увлечение.

Сам я проходил в красноармейцах курсы электротехники сильных токов, а брат мой тоже любитель этих делов и знаток своему разуму. А до службы в войске я пять лет трубил линейным монтером на городской электрической станции, оттуда у меня и пошел интерес ко всяким механизмам и таинственности, с той же поры скучно мне на деревне и напрасной кажется бедность ее.

Собрал я артель, вышел на сходе и говорю мужикам:

— От барского сада нету нам прибýtка, кроме как ребятишки по картузу зелени нарвут. А сад ведь, граждане, гибнет — то ведомо всем. Отдайте нам сад, — говорю. — Только пять лет мы вам ничего платить не будем, а зато сад приведем в показательный порядок и электрическую станцию вам построим с линией и вводами на сто дворов, а дальше сами тяните (я уже подсчитал про себя, сколько даст сад и сколько стоит станция). При станции же оборудуем

мельницу с камнем на девять четвертей, просорушку и обойку для пеклеванной муки. И все это добро передадим, кому общество укажет, а лучше кредитному товариществу — на правильное пользование. А по изжитии пяти годов и сад вам в целости представим, либо аренду будем долгие держать, — это, — говорю, — как вам угодно будет.

А меня влекла не только полезность дела и свое пропитание, но и интерес к жизни — советское строительство.

Тут пошел гам и обсуждение предложения.

— Брось, — говорят, — Ефимыч, не твоего ума это дело. Погорим от твоего электричества...

— Фролка, а каково твое обеспечение, где залоги возьмешь? Аль общество дуриком отдаст тебе сад?

— Набрался газу в городе, умней всех стал!..

— Не трожь напрасно: Фрол — городской парень, он и ране был по разуму ходовитый...

— Жрал сто лет дерьмо, на яблони харчи хочешь...

— Знаем мы этих изобретателей — землю липстричеством мазать хотят, дождю пушать...

— Оно любопытно, только ни хрена не выйдет: тут иностранец нужен...

Вышел здесь председатель сельсовета, мужик здоровый и в зрелых годах:

— Тиш-ша! Пулеметы, гуси-лебеди! Девки, брось зерна грызть! Кузьма, отставь от себя брехню и агитацию... Граждане, садом нам не владать все едино, не к рукам он нам, а Фролка на глазах будет, — ежели што, враз водворим на его усадебное место... Рыска я не вижу, а посулы Фрелкины — не обида...

Обломались к вечеру мужики — сдали нашей артели сад на пять лет. Все буквально в протоколе отметили, и расписались мы всей артелью казенным почерком с фигурами. Один из артели нашей, Прошка Кузнецов, сумел лебедя вывести. Даже председатель сельсовета, который видел сзади, как Прошка старался, сказал ему:

— Да будет тебе, Прокофий, мудрить на официальной бумаге, ты не шуточное дело делаешь и собрание задерживаешь...

2

Осенью было дело. Грузно нам пришлось зимовать: харчей мало, артельщики — люди без избытку, одежды нет, тот же Прошка зимой и летом ходил в железных калошах, которые сам сделал, — в холодное время у него, говорят, пот на ногах мерз. Однако с весны до самых плодов не посидели — суетливое дело сад.

Прошла завязь, а потом плод, еще хуже стало — лезет вся деревня к нам. Сколько тут скандалов, сраму было, день и ночь не очнешься. Да ведь не ребяташки донимали: сурьезные мужики ломались за яблоком.

Захватишь и говоришь:

— Да ты бы попросил, Фома, я бы тебе дарма насыпал.

— Да я и не лез, — говорит, — я бадик сломить зашел. Нужон твой сад, хозяин нашелся! Выгоним скоро обратно: общество говорит, урожай хорош, — Фролку долой с нашего имущества!

А раз захватили милиционера и секретаря Совета с двумя битыми мешками: что тут делать будешь? Хотел я усювестить — куда тебе!

— Мы, — говорят, — не себе, а детдому.

— Так чего же, — спрашиваю, — нам сперва не заявили, предписания не дали — ведь мы организация.

— Молчи, — отвечают, — мы знаем, что делаем, не суйся в административные мероприятия!

Тогда Прошка (который и захватил их), слова не говоря, хрясь ладонью милиционеру в ухо, ляп железной калошей секретарю в спину. И так и далее. Однако дело это прошло молчком: вреда эти власти нам впоследствии не сделали.

Подговорились мы с одним городским армянином сбывать ему фрукт, и стали водиться у нас деньги.

Вышел сезон — подсчитали, свели в срезек баланец, ан три тысячи с лишком чистого дохода.

И хлебом мы запаслись на целый год, и прикупились кое-чем для себя и для сада, а три тысячи остатку.

Сильный был фрукт, да еще червь попортил.

* * *

Надобно договор до дела доводить. Поехали мы с братом и Прошкой в город — двигатель покупать. Походили, поспросили, — дорого.

— Зато машины, — говорят, — на букву ять.

— Нет, — отвечаем, — дорого. И при чем тут твоя царская буква?

— Букву не лай, — говорит сиделец, — она довоенного качества!

Наконец довел нас до дела один гражданин из Дома крестьянина. Пришли мы с ним к одному частнику: видим мельница на дворе стучит. Входим — идет шведская машина. Отсечка — мягкость и чистота, газ — без дыма, тянет восьмерики плавно, бесшумно, шутя, вся блестит и влечет, как кровная лошадь. Танец, а не работа, шут ее дери! Я понимаю это, я сам электромеханик.

Долго мы вращались около двигателя.

— Сколько машина стоит, — спрашиваем, — со всей гарнитурой — чохом (как раз и постав мельничный тут же, рушка, обойка, бочки для нефти и весь инструмент).

— Пять тысяч, — говорит нам хозяин.

Дней пять мы ходили — испытывали постав, разбирали машину и торговались.

Сошлись на трех с половиной тысячах. Ведь машина сорок сил, да причиндалу сколько.

А денег у нас три тысячи двести. Поговорили с хозяином — согласился обождать триста рублей.

Тогда мы вошли во владение машиной и мельницей, пошли в сельскохозяйственный банк и заложили все благоприобретенное за две с половиной тысячи. На эти деньги мы окончательно расплатились за двигатель и купили в тресте динамо, два маленьких электромотора для молотыбы, приборы, щиты, провода, лампы и прочее.

И начали мы возить имущество в Рогачевку. Сопровождал Прошка — ездил и ужасал встречных мужиков.

— Прокоп Палыч, нюжли ж взаправду светить и молотить оно будет?.. А я так думаю, не двинется оно — все же мертвый минерал...

— А ты пойдя — тронь, — отвечал Прошка, показывая на какой-нибудь изолятор на возу. — Тронь, Матвей, пальцем! Да не бойся — тебе приятно станет...

— Да ну тебя к шуту — изувечит еще...

— Ага, а говоришь, мертвый минерал: это энергетик, тайная живность...

Кредитное товарищество дало нам амбар под станцию — туда и свезли все. Начали мы орудовать с братом и Прошкой. Привезли цемент и начали класть фундаменты под двигатель и динамо.

Утром поедим в саду печеных яблок с молоком — и до вечера на электростроительство. От народа в амбаре работать было нельзя: каждый указывает и советует, но и помогали иногда.

Собрался раз в кредитном сход о налоге, исчерпали повестку дня, я вышел и говорю:

— Трудно, граждане, втроем станцию — завет Ильича и основу социализма — строить. Нужна ваша помощь. Свезите нам из лесничества столбы, ошкурите их и вкопайте вдоль по улице, как мы укажем. Затем я полагаю, что бесплатно следует провести электричество только безлошадным и неимущим, по списку комитета взаимопомощи, а остальным по десять рублей с хаты, если идет линия по их улице.

Мне говорят:

— Правильно, Фрол Ефимыч, — устроим! Видим твои старания, от забот борода облупилась!..

Тогда дело наше пошло спорее: мы с братом установку делаем, а мужики под руководством Прошки столбы вкапывают, линию тянут и вводы в хаты втыкают по особому списку, а богатых проходят мимо: если хочешь свету-силы, вноси десять рублей.

Прошка сидит на столбу и верховодит:

— Кузька, глянь, как столб твой стоит, — переставь вкрутую, это тебе не бадик!

— Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!

— Петруха, неси харчей из дома, скажи: Прошка требует.

— Эх вы, жлоборатория, да разве так тянут провод — это вожжи, где же тут напряжение пойдет? Его ветер сдует. Тяни втугачку, сопля, жми до пупка — технически трудись!

Вечером мужики наблюдают:

— До чего ж ходовит Прошка — огнем горит: глянь, с версту уже протянули. Ты скажи, и не обидчив! И сам смеется — и все ребята грохочут...

Когда у Прошки затекали руки и ноги, он слезал со столба и выплясывал из себя тут же всю усталость. Тогда все бросали работу и сбегались к нему. Прошка, поплясав и поорав, сразу смолкал и уставлялся своими белыми глазами на толпу:

— По местам, электромеханики, аль инженера не видали?

Довольные «электромеханики» расходились на работу.

По вечерам мы задумчиво отдыхали. Машины уже собраны и блестят, по соломенному селу ходит влажный осенний ветер, а Прокофий греет ужин.

* * *

Наконец настал день пятое ноября. Мы сделали деревянную звезду с лампами, через улицу протянули гирляндой тридцать ламп, а самая улица освещалась десятью фонарями на версту.

Кроме того, на площади против станции поставили две молотилки с электромоторами и подвезли хлеба к ним.

Ночью втихомолку мы попробовали станцию: впрягли в двигатель всё — и динамо, и постав, и рушку, и обойку. Двигатель пошел мерно и без натуги. Улица засияла огнями, звезда в разноцветных фонарях светила с крыши дома кредитного товарищества на десять верст через село в степь, в ста хатах тоже загорелись лампы, — мужики в смятенье проснулись, заплакали дети, бабы их начали кутать и выносить на улицу, но в ту осеннюю ночь на улице тоже горел электрический свет.

По селу началась горячка. Народ бежал к станции, радуясь и тревожась, угрожая и удивляясь. Всех охватило смутное чувство, и сон в селе пропал.

А предприятие наше было на полном ходу и жутко гудело таинственной силой.

Прошка стоял у распределительного щита и следил за приборами, мы с братом мотались от двигателя к мельнице, от мельницы к молотилкам, устраняя неполадки, слушая ход и дыхание механизмов.

Над селом плыло великое зарево, за околицей гремели чьи-то убегающие телеги по завоклой обмерзшей земле.

Был третий час ночи.

Тогда я крикнул человеку на щит:

— Прокофий, запри нефть, включай реостат, вырубай село, кредитное и улицу!

И Прошка ответил:

— Есть, механик, — вырубай ток!

Свет погас всюду, и сразу все ослепли от вновь нагрянувшей страшной ночи.

Полуодетый народ стоял в полном молчании: он ошалел и поник.

— Прокофий, переведи ремень на холостой шкив, пусти двигатель, затем прекрати нефть, открой все краны и продуй машину!

— Есть, продуй машину! — ответил Прошка. Он, должно быть, матросом был: очень уж ловок и тактичен. Машина пошла ходко, а затем засвистела дикими голосами во все открытые отверстия.

— Прокофий, заюлюч установку, конец работе.

— Есть, заюлюч механизмы, работу прекратить!

Стало торжественно, и мы пошли к себе домой, в сад отдыхать.

Но мы не уснули, а разволновались и просидели до света в разговорах по механике.

3

Наступил день открытия станции. Наладить праздник взялась сельская ячейка большевиков. К тому же открытие совпало с днем Октябрьской революции.

Наше дело малое: мы вновь проверили машины.

Ячейка вела дело лихо: разослала всем соседним селам и городу особое трогательное приглашение.

Было сухо — народу съехалось, как на обношение мошей в старое время. Приехала вся большая власть и простые крестьяне.

В зале кредитного товарищества назначено было торжественное заседание. Прошка ввернул туда пять ламп по шестьсот свечей, чтобы свет бил до слепоты.

Уже завечерело, мы стоим на станции наготове и греем двигатель паяльной лампой. Вдруг приходит за мной предуика товарищ Кирсанов.

— Пожалуйте, — говорит, — Фрол Ефимыч, в залу.

— Сейчас, — говорю, а сам задержался.

— Прокофий, — обращаюсь, — Семен (это мой брат), глядите, ежели што — стыд и срам: кувалдой запущу! Я скоро вернусь. Пускай машину — вруби одно кредитное, я выключатель там выключил, — как увидишь нагрузку на амперметре — глаз не своди! — так моментально включай все и пускай на полный ход предприятие целиком. Ты, Семен, следи за молотилками, мельницей и всем прочим, поставь надежных мужиков.

Прихожу в зал кредитного: чувствуется торжественность, тишина, а народу, как ржи в мешке. За красным столом — власть и два наших мужика, а сбоку оркестр.

Прохожу сквозь ущелье стульев и иду прямо в президиум: мне машет оттуда предуика. Сажусь. Начинается вечер его речью. На столе горит пока что керосиновая лампа — для пущего противоречия!

Умно говорил предуика:

— Лампа Ильича сейчас, — говорит, — вспыхнет и будет светить советскому селу века, как вечная память о великом вожде. Мотор, — говорит, — есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней социализма. Наконец, — указывает на меня, — строитель электрификации Фрол Ефимыч, есть тоже смычка: глядите, он родился крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое знание... Объявляю Рогачевскую сельскую электрическую станцию имени Ильича открытой!

Я еле успел подбежать к выключателю и дал свет. Свет упал в темную залу, как ливень: три тысячи свечей пожертвовал сюда Прошка. Все зажмурились и нагнулись — как будто лилась горячая вода.

Оркестр заиграл «Интернационал», все встали.

Я подошел к окну.

Пятиконечная звезда, уличные фонари, лента через дорогу, хаты — все сияло.

Народ бросился глядеть наружу.

Дальше говорил предсельсовета, потом секретарь укома, а затем вышел председатель нашего кредитного товарищества:

— Товарищи! Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили лампу Ильича, т. е. обожаемого товарища Ленина. Он, как известно здесь всем, учил, что керосиновая лампа зажигает пожары, делает духоту в избе и вредит здоровью, а нам нужна физкультура... Что мы видим? Мы видим лампу Ильича, но не видим тут дорогого Ильича, не видим великого мудреца, который повел на вечную смычку двух апогеев революции — рабочего и крестьянина... И я говорю: смерть империализму и интервенции, смерть всякому псу, какой посмеет переступить наши великие рубежи... Пусть явится в эту залу Чемберлен, либо Лой-Жорж, он увидит, что значит завет Ильича, и он зарыдает от своего хамства... И я говорю: помни завет вечного Ленина.

Тут председатель кредитного заплакал, сел и вынул кисет.

Еще говорил, всем на удивление, наш мужик, Федор Фадеев:

— Граждане, сказано в писании: вначале было слово. А кто его слышал, и еще чуднее, кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя... Граждане, ведь мы слышали сейчас задушевные слова наших вождей и видим, что действительно электричество есть чистота и доброе дело...

Поговорив еще с час, Федор сбился и сел, и весь вечер не мог очнуться от своей речи.

Остальную ночь я пробыл на станции. На дворе в драку молотили хлеб и дивились маленькой напористой машине — электромотору.

Всю ночь зарево пропускало над собой тучи, и темная долина Тамлыка была впервые освещена от сотворения мира.

4

Так прошел счастливый год. Станция везла уже не сто, а триста дворов. Мельница не управлялась молотить хлеб, и кооперация, которая владела всем предприятием, здорово наживалась. Ветряки заглохли — весь помол отобрала мельница на станции: она брала дешевле, от налогов была свободна и работала без задержки, а кооперативный приказчик был обходительный человек и приучил мужиков.

А мне не раз уже говорил председатель кредитного, что мельники с ветряков собираются сжечь станцию, но я думал, что они не посмеют.

В сельсовете подсчитали, что одна наша мельница, не считая пользы от освещения, молотыбы, рушки и обойки, сберегла мужикам за год шесть тысяч пудов хлеба — это то, что мужик переплатил бы мельникам-кулакам, если бы не было нашей мельницы. Да еще заработок весь пошел не кулаку, а кооперации, — это тоже прибыль.

Оказывается, действительно в правление кредитного приходили два сельских мужика и говорили, что один мельник, владелец самого большого ветряка, подвыпивши, обещал сжечь все паровое заведение в августе — перед обработкой нового урожая. Я посоветовал кредитному застраховать предприятие, повесить в нем огнетушители и нанять ночного сторожа, а на кулака донести власти. Не знаю, сделало ли это кредитное товарищество.

Только раз, когда я спал — дело было в августе, работы в саду много, за день уморишься здорово, — будит меня Прошка:

— Ефимыч, вставай, в Рогачевке полыхает что-то свечой, должно станция, хаты так не горят — это нефть...

От сада до села была верста. Добежали мы до станции, видим — уже нет постройки, все машины в огне и по двигателю зелеными струями текут расплавленные медные части.

Теперь стоит в Рогачевке линия, висят фонари на улицах, а лампочки в хатах засижены мухами до потускнения стекла.

Прошка ездит на тракторе, а я думаю опять уйти в город и поступить там на электростанцию линейным монтажистом.

Брат осел в деревне окончательно и разводит кур плимутроков.
Хотя на что нужны куры кровному электромеханику?

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Поля опустели, стало скучно и хорошо в деревне; земля уморилась за лето рожать, а люди уморились работать. Земля лежала худая, она засыпала на отдых до будущей весны; солнце смеркалось над деревней, и поля уходили в сумерки осени, в темноту зимы. Но люди отдыхают скоро; они выпалились, наелись и ушли из деревни в дальние города: один взял топор и пилу и пошел плотничать на постройки, другой отправился с пустыми руками, но он там найдет себе занятие — может быть, землю будет копать, может быть, станет подручным слесаря: делов теперь много на свете, что-нибудь и ему достанется. Иные же, более молодые и норовистые, отправились учиться: кто хотел быть летчиком, кто моряком, кто писателем, кто артистом, кто думал о музыкальной части. И все они ушли, и каждый из них найдет, конечно, себе забаву и судьбу, которую пожелает.

И когда все эти люди ушли, то в деревне Минушкино, или в колхозе имени 8 Марта, что одно и то же, осталось в сиротстве двенадцать дворов, девятнадцать женщин, считая со старухами, и сорок человек малолетних детей, считая со стариками, которых было семь душ. Кроме них в Минушкине порешили зимовать еще два человека: бригадир конного двора, колхозный конюх Василий Ефремович Анцыполов и подросток Григорий Хромов, семнадцати лет, что жил с матерью-вдовой, сын давно умершего крестьянина, знавшего плотничье дело.

Как только все главные работающие крестьяне оставили деревню и колхоз осиротел без них до нового тепла, так Анцыполов, Василий Ефремович, обленился и вовсе перестал работать, потому что он почувствовал теперь себя самым главным, самым сознательным и единственным мужиком во всей деревне, почти что начальником, а все остальные люди в деревне были либо малолетние, либо малодушные, и он их не считал за настоящее сельское население.

Однако, хотя Василий Ефремович чувствовал себя гордо и важно, ему было скучно существовать одному, непрерывно сознавая свое положение выше всех. Даже выпить вина ему не с кем стало теперь, и он пил его в конюшне, в компании лошадей. Для этого Василий Ефремович выводил всех четырех лошадей из стойл на середину сарая и ставил их всех лицами к себе, а сам садился на охапку сена и начинал угощаться в окружении лошадей. Лошади умно и зорко смотрели на человека, размышляя о нем, а может быть, недоумевая, почему они должны его слушаться и бояться. Василий же Ефремович наливал себе стакан вина и, обращаясь к кобыле Зорьке, строго наблюдавшей за ним, произносил:

— Зорька! За твое здоровье, против поноса, каким ты болела в бабье лето, — аминь, ура!

Затем Василий Ефремович выпивал по очереди, с провозглашением заздравных речей, за мерина Сончика, за кобылу Голубку, за второго мерина Отсталого и под конец за самого себя.

— Да здравствую я! — кричал Василий Ефремович, и лошади вздрагивали от этого звука, отходили прочь от человека и ржали издали на него.

Но Василий Ефремович еще несколько раз приветствовал сам себя и наконец покрывал свои громкие речи могучим «ура» в честь самого себя и заодно всего человечества, которое он начинал немного признавать, подобрев от вина. На закуску Василий Ефремович денег не тратил

и заедал вино какими-либо крошками или остатками пищи, застрявшими у него в бороде после вчерашнего ужина, или брал одно-два овсяных зерна из кормушек лошадей, и этого ему было достаточно. Сколько раз бывший председатель колхоза Самсонов приказывал ему: «Василий Ефремович, организуй ты свою бороду, что ты целую тайгу носишь на милом лице!» Но Василий Ефремович не подчинился председателю: «А что мне с пустошью на лице по миру ходить! — говорил он в ответ. — Какое такое добро заводится или родится на пустоши! Это пустой человек живет весь оскобленный — у него силы жизни нету, а я человек густой, из меня, как из чернозема, гуща наружу прет!»

Отведав вина в компании лошадей, Василий Ефремович начинал бродить из избы в избы, по всем знакомым, и говорил людям, что он пришел к ним прощаться, так как нынче же он уходит из деревни навеки во всю вселенную.

— А чего ж, ступай, твоя воля, — говорили ему крестьянские старики. — Нам ты в колхозе не нужен, может, там, во вселенной, будешь как раз!

Василий Ефремович выходил из очередной избы и шумел встречному человеку:

— Я во вселенную пошел!

— И где она? — спрашивал его встречный прохожий старик, поспешая, сколь возможно, в кооператив за постным маслом.

— Там! — говорил Василий Ефремович, указывая на весь серый свет вселенной.

Старик глядел на этот свет и думал или вспоминал что-нибудь про другие места, про всю землю, где он бывал когда-то: «Когда это было? — думал старик: — Забыл, видно; ну и пусть, что забыл, — помирать пора!»

А вокруг была тишина осени, тишина земли, отработавшейся за лето, покой мира, рождающего и кормящего всех людей. Листва на мелком лесе, растущем у околицы деревни, уже вся опала, и она теперь не застила чистого сумрачного пространства, безмолвного, но почти поющего и призывающего уйти и не вернуться.

— Вперед — во всю вселенную! — восклицал Василий Ефремович и шел домой, чтобы собраться в вечный путь.

Дома его ждала жена. Сначала она слушала Василия Ефремовича и собирала ему все пожитки во вселенную, а затем разувала, раздевала его и укладывала спать спозаранку. Василий Ефремович засыпал, давая себе небольшую отсрочку, чтобы затем, в скорости же, направиться во вселенную, но, проснувшись, он думал и говорил вслух:

— Я подлец, и это правильно и, главное, точно: я подлец! — и уходил снова к лошадям — пить вино и беседовать с ними.

Однако Василий Ефремович был, как видно, умен! И по уму своему он решил однажды не идти домой, а прямо направиться во вселенную с конного двора. Он попрощался с лошадьми, поцеловал их, сказал им печальные, окончательные речи и пошел в пространство, в тихое русское поле, где все цветы и растения уже отжили свой летний солнечный век.

— А мой век еще цел, он остался полностью: ого-го! — со счастьем освобождения размышлял Василий Ефремович, уходя в смутный, рано вечереющий свет поздней осени.

Пройдя немного времени вперед, Василий Ефремович утомился и лег для отдыха у плетня усадьбы колхозницы Паршиной; за этим плетнем уже начиналось пустое место всего мира, открытое до самого неба и увлекшее вдаль. Туда и решил направиться Василий Ефремович; теперь ему уже до всего было близко, и он подумал, что можно не спешить. «Отдохну и тронусь!» — сделал Василий Ефремович свое мысленное заключение и уснул.

Проходя вечером мимо спящего пожилого человека, который мог остыть за ночь и скончаться в одиночестве, Григорий Хромов побудил Василия Ефремовича, но тот не пожелал идти ко двору, наоборот — велел Хромову идти и заниматься полезным делом, поскольку тут его дело бесполезное. Тогда Хромов натужился и поднял Василия Ефремовича к себе на руки, как мог. Василий Ефремович на вес был нетяжелый; он лишь казался тяжелым от большой бороды и шумного характера.

— Пойдем, — сказал Хромов, — а то ты, знаешь что, простудишься и умрешь, ночи нынче длинные, и будешь потом на том свете, как старухи обещают.

— На том свете! — обрадовался Василий Ефремович незнакомому месту. — А это еще лучше — неси меня туда!

Но Григорий приволок его домой, к жене, и та уже сама велела жить Василию Ефремовичу здесь, а не во вселенной и не на том свете.

На другое утро Василий Ефремович заинтересовался Григорием Хромовым — он всем интересовался, что не относилось к его обязанностям конюха, — и отыскал молодого колхозника, когда Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца.

— Ты это что же! — сказал конюх. — Ты что же никуда не ушел до весны, как прочие умные?

Григорий перестал тесать дерево и подумал. Осенний чистый день стоял над мирными избами колхоза, над умолкшим, остывшим перелеском и над родным полем, отдавшим всю свою силу людям и теперь дремлющим в покое. Снега еще не было и холода не пришли; с утра до вечера небо было сумеречным, но этого кроткого света было достаточно для жизни и работы.

В кузнечном сарае горел огонь в горне, там работал старик кузнец с подручной девушкой, справляя весь железный инвентарь, изношенный за лето, к будущему севу. Невестка кузнеца, не ожидая зимнего пути, без спеха повезла на телеге навоз на колхозный огород. Мерин Отсталый поглядел в сторону Василия Ефремовича и повез телегу с навозом дальше. Счетовод Груня шла с большой счетной книгой в общественный амбар, считая в уме, что кому положено получить, что кто переполучил, а что кто недополучил, и какие фонды уже засыпаны, а какие неготовы или неправильно назначены.

— Я привык жить в колхозе и по матери боюсь соскучиться, — произнес Хромов в ответ Василию Ефремовичу и застеснялся чего-то.

Конюх осудил подростка:

— Соскучиться боишься! Так скука же либо тоска и прочее — это упадовничество! Ты против закона, значит: ага, твоя фигура нам понятна!

— Нет, дядя Вася, у меня мать хвора... Боюсь — я уйду, а она помрет одна без меня...

— Врешь! Кругом колхоз, свои люди, не дали б ей помереть!.. А так что же получается: нам великие люди нужны, а ты мелким хочешь прожить, чтоб и могилы твоей никто не нашел! Как тебя назвать — в стороне от схватки, что ль?

Хромов опять начал тесать бревнышко для колодезного венца.

— Я, дядя Вася, великим человеком не буду, я не умею...

— Врешь! — отвергнул эти слова конюх. — Ты сколько классов кончил?

— Семилетку в Шаталовке, — сказал Хромов. — Все семь классов кончил прошедшей весной.

— Ну вот! Тебе самый раз теперь учиться выше, чтоб познать все темные тайны и совершить подвиг во вселенной!.. Сколько наших ребят вон уехали, — теперь, гляди, пройдет год, полтора, два, и они будут каждый на великом деле, на глазах всего человечества — кто летчик, кто артист, кто по науке, кто по прочей высшей части!.. А ты кто будешь? Замрешь здесь, как черенок в плетне! Кто про тебя сказку расскажет, либо песню над гробом споет?

— Никто, — сказал Хромов. — Мне не надо сказки...

— Не надо? А это опять твое упадовничество в тебе говорит... Ты вспомни наших ребят: возьми хоть Гараську, хоть Мишку, да того же и Пашку можно! Сколь они старше тебя? Да чуть-чуть, а, глянь, в каких высших училищах учатся: вот-вот в величайшие люди выйдут! Да оно им вполне прилично и к лицу очутиться у власти на вышке: у них у каждого грудь раза в два поболее твоей развернулась — на таких грудях сколько медалей с заслугами можно увесить. Красиво будет!

Григорий Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца. Он молчал и работал топором.

Василий Ефремович соскучился быть с ним и отошел от него.

— Не хочешь, значит, использовать всех прав нашего государства и конституции, ну погибай, как мошकारа в чужой ухе! — сказал на прощанье сердитый конюх.

Хромов поглядел ему вслед:

— А ты сам-то чего, дядя Вася, не подашься от нас никуда?

Василий Ефремович остановился.

— Так у меня же фантазия есть, дурак человек! Где меня нету, там я легко представляю, что там я есть! Я все могу, только не хочу пока что... Пусть все выяснится и утрамбуется на свете, тогда я и нагряну лично. А ты-то что?

— Я в колхозе состою, — ответил Хромов. — Я за себя и за мать работаю.

— Только что! — усмехнулся конюх.

— И я для всех работаю, — робко добавил Хромов.

— Старайся! — насмеялся Василий Ефремович. — Какая твоя работа! Ты от этой работы только сам с матерью кормишься... А для народа ты никто, народ тебя сроду не почувствует, был ты или нет...

Хромову стало грустно; он оглядел свою деревню: в ней жил его народ, но неужели Хромов не нужен здесь никому — живет он или умер, а тот, кто играет на музыке где-то вдалеке или управляет машинами, тот народу нужнее и дороже его?

Григорий не знал, как правильно надо думать об этом, и он начал достраивать колодезный сруб.

К вечеру он закончил работу, собрал инструмент и поспешил к матери. Мать Григория хоть и была слабой от возраста и давней болезни, но днем никогда не прикладывалась к постели для отдыха и с утра до ночи работала — то по колхозному делу, то по домашней нужде. Когда сын жалел свою мать и просил ее прилечь отдохнуть, она нипочем не хотела и отказывалась:

— Что ты, Гриша! А ночь куда девать... Кто ж нас должен хлебом кормить, и в одежду одевать, и керосином светить! На каждую душу ишь сколь добра всякого нужно, чтоб она жила, а добро-то ведь сработать надобно... Если б днем ложиться, да ночью спать, да поутру чесаться, да не редкий кто, а каждый бы так — весь народ с недостатков ослабел бы и помер...

— А ведь ты больная, мама. Тебе можно отдыхать больше...

— Я больная, да терпеливая и к жизни привычная. И что ж, что больная! Все равно ведь и обедаю, и ужинаю, и одежду на себе трачу, и мало ль чего... Чем мне в мыслях жить, когда я бы только от людей брала, а им ничего не давала?..

И сын не мог ей ничего ответить.

В нынешнюю осень Хромова-мать ходила председателем колхоза, как знающая старая крестьянка. Она было хотела отказаться от такой чести и обязанности, но общество не уважило ее просьбу.

— Ты, мать Мавра Гавриловна, хоть и хворающая женщина, — сказали ей старики, — и тебе бы пора облегчение позволить, да кто ж тебя удержит, когда ты сама себе покоя не хочешь дать! Ты, гляди, на всякую честную работу с охотой идешь, откуда и мужик норovit в бок уйти. Нужен навоз — ты к навозу любезна, нужно картошку перебрать — ты самой пылью дышишь и кашляешь потом по всей ночи с мокротой. Аль мы не знаем тебя! Была ты на черном деле хороша, ступай ныне на белое, на чистое. Душа в тебе есть, голова хоть и бабья, да не дурная, колхоз наш не слишком хлопотлив да велик, а можно сказать — мал, хоть лодыря в нем есть много — порядочно. Чего тебе! Живи полной властью...

И с недавней поры Мавра Гавриловна стала жить полной заботой о всем колхозе. Раньше, когда Мавра Гавриловна не ходила еще в председатели, она только вздыхала, когда видела непорядки в общем деревенском хозяйстве, но превозмочь их не могла. Теперь она вздыхать перестала, потому что не о чем было горевать, когда власть была в ее руках и можно стало превозмочь всякий ущерб или недостаток и всякое беспутное злодейство в хозяйстве. Если даже и нельзя сразу все сделать по-доброму, то легче знать, что вина за это находится в тебе,

потому что сама, значит, не умеешь совладать с другим нерадивым человеком, сама, значит, негодная, чем видеть эту вину в неподвластных лодырях и праздных гуляках; страшно только то зло, до которого руками нельзя добраться, а когда можно, то чувствуешь себя заранее хорошо, если зло даже и существует пока. Поэтому Мавра Гавриловна почувствовала теперь облегчение, и болезнь ее от улучшения настроения ослабела или забылась.

Она по-прежнему вела домашнее хозяйство в избе и стряпала обед к приходу сына с работы. Делов у нее не стало больше от должности председателя, потому что она с малолетства привыкла к заботе, а что эта забота теперь большая стала, то иная маленькая единоличная нужда либо нехватка сушила кости, бывало, злее всякой большой общественной заботы.

Нынче тоже, как вернулся Григорий с колодезной работы, так мать собрала ему сейчас же на стол, а сама не стала есть, она пообещала покушать после.

— Ефремыч-то опять гуляет? — спросила мать у сына.

— Опять, — сказал сын.

— До весны стерпим его, — решила мать. — На амбарное накат будем менять, некому тяжести поднять — Ефремыча тогда пошлю... А у тетки Аксюши-то третья дочка, Фроська, животом лежит мучается, слышал иль нет?

— Нет, — ответил Григорий. — Я тетку Аксюшу не видел.

— Ведь это что ж творится! — удивилась мать. — Две девочки летось померли, теперь третья вслед им хворает... Уж не вода ли у нас дурная?

— Вода, — решил сын. — Не вода, а люди... Каждый своим ведром в колхозном колодце воду достает, а дальние проезжают — те конным ведром черпают, а в нашем колхозе дети оттого помирают... Зараза в воду попадает!

Мавра Гавриловна замерла вся от горя.

— Вот кручина-то! Как же нам быть-то, да разве отучишь, упросишь кого, чтоб со своим ведром не ходил по воду, — всякий теперь отрежет, что его ведро и луженое, и чиненое, и чище всех, а наше грязное...

— Не отучишь! — согласился Григорий.

Весь вечер он сидел, по своему обычаю, с книжкой возле лампы и читал, но сам думал о колодце. В учебнике по физике он рассмотрел рисунок деревянного ворота и сообразил, как его надо сделать.

На другой день с утра Григорий начал делать ворот для колодца и к вечеру установил его над срубом, а затем взял цепь и один конец ее укрепил в круглом теле ворота, а другой приклепал к дужке общественной бадьи. Верхнюю дневную поверхность сруба он накрыл деревянной крышкой на петлях.

Когда Григорий уже убирал стружки и мусор от сруба, к нему подошел Василий Ефремович и осмотрел новое деревянное устройство.

— Это ты что ж, товарищ Хромов, всерьез или нарочно тут строишь?

— Немного лучше будет, дядя Вася, — сказал Хромов. — Вода чище станет, а то у детей животы болеют и они помирают.

— Эх тебе забота: дети помирают! — выразился Василий Ефремович. — А то детей у нас дюже мало! Одни помрут, вторые на смену явятся — ишь ты, чем государство наше испугал... Нас ничем не напугаешь — девки у нас красные, парни геройские: они тебе сколько хочешь народа вперед, впрок нарожают! Да и зачем тому родиться, кто помирает скоро: пускай помирает, его чистой водой от смерти не сбережешь, а и выживет, так все одно он квелый, маломощный будет, — нам таких граждан не нужно! Нам такие нужны, чтоб навозную жижку пили — и серчали, как звери, от лишнего здоровья... А это что — вся твоя тут цивилизация — это безвозмездное дело!

Григорий нахмурился и поглядел на Василия Ефремовича.

— Тебе хорошо говорить, ты век свой прожил, а людям неохота помирать в детстве и матерям их неохота хоронить.

— Это-то хоть так, — поразмыслил конюх. — Я о пользе дела тебе говорил: кто нам нужен, а кто нет.

— А я не о пользе? — сумрачно произнес Григорий Хромов. — Я о жизни, чтоб люди не помирали зря...

— Ну хлопочи, хлопочи, — согласился Василий Ефремович, — мне какое дело, мое дело в дальней стороне... А твое дело тоже не здесь — твое дело славу заслужить и высший почет, чтоб вся вселенная картуз сняла перед тобой, — вот какое твое дело! А ты тут древесину тешешь, чтоб твоя мамаша, председательница, спасибо тебе сказала. Телок ты дурной: вырос давно, а мать все тебе начальство! Рванись вперед во всю прелесть жизни!..

Конюх зарычал от иступленного воображения всей прелести жизни и пошел куда-то за околицу, а Григорий озадачился от его речи.

Вечером Григорий долго читал книгу о дальних перелетах и об автомобилях, которые ехали по Москве, убранные живыми розами. Он склонил голову на стол и задремал. И ему представилось, что он видит автомобиль с плошками роз, поставленными на подножки, видит людей в этом автомобиле, но не может никак разглядеть и узнать их в лицо, а когда узнал, то закричал от радости и заплакал: в машине сидели как герои Гараська и Мишка из ихней деревни.

«Мама, — сказал он матери, — я видел теперь всю славу и силу, они в Кремль, в гости поехали, я тоже хочу», — но мать ответила ему тихо: «Не шуми, когда соскучатся по тебе, тогда и позовут, а сейчас — нечего».

Григорий очнулся. Лицо его было покрыто слезами и сердце дрожало от предчувствия счастья, но в избе было спокойно и неизменно, как было всегда с самого детства: горела лампа на деревянном, выскобленном столе, поскрипывал старый железный флюгер — петух на дымовой трубе над крышей, обеспокоенный полночным ненастным ветром, и мать спала на печи, она не обещала и не говорила сыну ничего. И Григорию стало вдруг стыдно своего желания счастья и славы, приснившегося ему во сне, и жалко самого себя, не заслужившего ни славы, ни чести.

Наутро пал первый снег. Григорий запряг в роспуски Сон-чика и Зорьку и поехал в лесничество, чтобы начать вывозку полагавшегося деревне Минушкино леса, заготовленного еще до полой воды. Добрые лошади теряли в теле по невнимательному уходу за ними Василия Ефремовича, но бежали скоро и покорно, давно втянувшись в крестьянский труд.

За околицей шли дети и подростки, играя меж собой в снежки. Они шли с книгами, тетрадами и пеналами, неся их в сумках через плечо или под мышкой, и спешили в школу-семилетку, что была в деревне Шаталовке, в четырех километрах отсюда. Шаталовскую школу окончил весной и сам Григорий Хромов. Все учащиеся дети каждый день ходили из Минушкина в Шаталовку, а потом оттуда обратно домой. В теплое время это было терпимо, но зимой и в непогоду минушкинские дети студились и уставали, а родители беспокоились о них. Человек пять детей по слабости здоровья и вовсе не ходили в школу. Но что было делать? Минушкино — деревня малая и учеников в ней немного; район обещал начать строить школу, но не в самые ближние годы, а в прочее будущее время, когда население в Минушкине размножится и подоспеет и со средствами в районе будет свободнее.

Григорий усадил всех детей на роспуски и подвез их до Шаталовки, а потом повернул в лесничество.

На обратном пути Григорий раздумался; лошади шли шагом в тишине зимнего поля, роспуски смирно поскрипывали под тяжестью двух больших хлыстов; близ дороги рос кустарник: маленькие сосны и ели стояли запушенные поверху снегом, как милые дети в стариковских шапках, дети, которые смеются, нахмурившись, и смотрят на всех сквозь улыбку полуоткрытыми глазами, полными спокойного ума.

Григорий сидел на длинных хлыстах, пружинящих от движения роспусков, и шевелил ногами по снегу, обрушенному передними полозами роспусков.

— На амбаре накат еще постоит, — решил Григорий вслух, потому что все равно никого не было в зимнем спящем поле. — Накат не рухнет. Я школу буду строить с библиотекой —

сложу за зиму большую избу, пусть хотя бы четырехлетка у нас будет и библиотека — книг на тысячу. А то вырастет у нас из детей бессмысленный народ, а пожилые подуреют без чтения иль жить соскучатся: Василий Ефремович вон совсем одурел... В лесничестве нам полагается еще хлыстов шестьдесят получить, попросим — прибавят: управимся... Ишь ты, ишь ты, Зорька! Что ты делаешь, вредная какая! — и Григорий шлепнул вожжой по крупному туловищу Зорьки.

Мерин Сончик, как более работящая и тягущая лошадь, без понукания перешел на мелкую упористую рысь, но Зорьке это не понравилось, и она, идя в пристяжке, норовила укунить Сончика в морду, чтобы он опять пошел шагом и не заставлял Зорьку бежать: она уже утомилась.

Вскоре открылось Минушкино, оно лежало в отлогой впадине земли; небольшое семейство изб прильнуло к сохраняющей их земле; из нее, из ее веществ и растений они созданы и тут живут. Посреди деревни на улице белела свежая древесина колодезного сруба и ворота, и одна женщина вращала ворот за рукоятку, подымая бадью с водой, что обрадовало Григория. «Пусть пьют чистое», — подумал он.

Дома он сказал матери о своем желании построить за зиму большую избу под школу и библиотеку и попросил у нее разрешения на работу.

Мавра Гавриловна подумала:

— Сложить избу ты сложишь, руки у тебя усердные — по рукам ты весь в отца, — сердце у тебя тоже чистое и нужда у нас в той избе первая. Наш колхоз без школы как без души живет, да и пожилому народу надо занятие дать для ума, пусть будет библиотека для чтения... Ну избу ты сложишь, а дальше что, голова ты беззаботная?

— А чего дальше? — не понял Григорий. — Дальше наука начнется и чтение.

— Наука! — сказала мать-председательница с раздражением. — А учительница нужна, а инвентарь, а прочее что! Денег-то сколько от трудодней надо вычесть: хорошо ли будет-то?

— Нет, то плохо будет, — опечалился было Григорий. — А я тогда в город плотничать уйду и буду все деньги присылать на учительницу и на керосин в школу...

Мать удивилась на своего сына и обрадовалась ему, но сказала иное:

— Да что ты, Гриша! И там люди недаром живут — хватит ли тебе самому-то прокормиться! А я-то кто же тебе? Я захвораю и помру тут без тебя — иль уж учительница в школе дороже матери тебе стала? Приедет, гляди-ко, козявка беспородная, а сын на нее в городе работай!.. Нет уж, моя тут власть — не твоя!

Но дума о будущей тесовой школе-библиотеке, построенной его руками, уже согревала сердце Григория и делала жизнь его влекущей и милой; без этой думы ему стало бы теперь так грустно зимовать в деревне, что он бы ушел отсюда или заплакал.

— Мама, я пристройку там сделаю...

— Это к чему же еще деньги-то лишние тратить?

— Там столярная мастерская будет. Я начну делать табуретки, столы и скамейки и продавать их в район. И ребят, какие станут в училище учиться, научу работать. Нас много будет работать, и денег много будет — мы карты всего мира купим, книги самые главные купим и учительнице будем жалованье платить...

— Ишь ты, ишь ты, разошелся! — заговорила мать. — Жалованье он будет платить! Уймись-ка!

Григория обидело это равнодушие и насмешка матери, и он закричал на нее:

— Сама уймись!.. Люди летать учатся, люди все книги знают, а я ничего и мне нельзя!

Он не знал, что нужно еще сказать — так горе стеснило его мысль, и он вышел вон из избы, не зная куда уйти. А мать умолкла и осталась одна.

Григорий направился за околицу. Кончался первый зимний день, серый вечер приблизился к деревне с лесной, полночной стороны, и в избах зажглись огни навстречу тьме. Григорий измерил шагами поляну у околицы и решил, что это место будет подходящим для постройки. Затем он пошел ко двору, чтобы взять лопату и расчистить снег на поляне.

В их избе мать тоже уже зажгла свет, у соседей за столом сидели дети с бабкой и ужинали, а старик кузнец, наработавшись за день, лег, наверно, спать, не зажигая огня, — в его избе

было темно. Все они жили здесь, добывали хлеб из земли и не мучились, что не умеют летать, — они зато умели пахать и радовались, что другие люди живут героями, возвышая их участь.

Григорий пожалел, что закричал на мать: она ведь тоже всю жизнь не имела того, о чем он жалел, но жила без озлобления. Он поглядел в окно родной избы: мать постелила уже полотенце на край стола, где всегда обедал и ужинал Григорий, а сама сидела у другого конца стола задумавшись. О чем думают матери? Умирая, они оставляют своих детей на земле одних. Как же они должны желать того, чтобы весь свет переменялся к лучшему, чтобы дети их продолжали жить, оставшись сиротами, без страха, без гонения, без измощающего горя, а так же бы, как при матери...

Через несколько дней Григорий понял, как непосилен был труд, начатый им. Одному было несподручно — и хлысты возить из леса, и пилить их, и готовить, и класть в венцы. А затем нужно еще из кряжей поделывать доски, связать рамы, съездить в район за гвоздями и стеклом и о прочем позаботиться. Но Григорий знал, что помочь ему некому, и с терпением выносил свой неподъемный труд. «Переживу, — думал он, — жалеть еще буду, что скоро построил; тогда запруду начну сыпать, пруд нам нужен: рыба — хорошая пища». Особенно неподъемно было укладывать в одни руки стенные бревна; однако, помучившись, Григорий устроил приспособление из веревки и деревянного блока, и ему стало чуть-чуть легче.

Конюх Василий Ефремович исчез из колхоза, — думали, что невозвратно, но недели через две он возвратился, столь же неприкаянный, что и прежде. За это время Григорию пришлось в добавление к своей работе ухаживать также и за лошадьми, потому что их некому было поручить, — поэтому Григорий больше всех обрадовался возвращению Василия Ефремовича.

Конюх первым делом явился к Григорию на постройку.

— Новый мир, что ль, строишь опять? — заинтересовался Василий Ефремович.

— Нет, избу для школы, — сказал Григорий.

— Зря, — высказался Василий Ефремович. — В этой школе никакой карьеры все равно не научишься...

Григорий промолчал; ему некогда было, он в это время хотел испытать, как он будет разделывать бревна на доски в одиночку; доски ему нужны были на подмости. Он влез на высокие козла, на которых лежало бревно, и заправил в бревно поперечную пилу: пилить надо было отвесно, вверх и вниз, но пилу заедало в древесном распилах, она играла и не шла в работу. Григорий спрыгнул на землю и пошел в овраг, а Василий Ефремович стоял в стороне и смотрел, что дальше будет. Григорий принес из оврага самородный камень пуда в два весом, затем обвязал его веревками и подвесил к нижней рукоятке пилы. Работа далее пошла правильно, но тяжело. Ведя пилу вверх, Григорий не только совершал распил, но и подымал камень, подвешенный снизу к пиле, вниз же пила шла под нажатием рук Григория и вывешивалась тяжестью камня, не позволявшего пиле играть и заедаться. Григорий работал в одной рубашке и без шапки, но ему было тепло в работе и пар шел от его рта и лица.

— Это серьезно, — произнес Василий Ефремович в размышлении. — Он и без наших масс управляется...

Он снял с себя полушубок, бросил его на бревна и подошел под козлы, где ходила пила. Уловив момент, Василий Ефремович приостановил пилу, снял тяжкий камень с нее и свергнул его на землю.

— Ты что там? — спросил его сверху Григорий.

— Обожди! — приказал Василий Ефремович. — Дай я возьмусь с тобой.

Григорий обождал работать и промолвил:

— К чему тебе братья, дядя Василий? Я один приноворююсь и стерплю...

— Как так к чему! — осерчал Василий Ефремович. — А я кто такой — скотина, значит, по-твоему?

— Нет, — ответил Григорий, — какая ты скотина — скотина такая не бывает... Я про школу тебе говорю — зачем тебе братья за пилу: школа тебе не нужна и весь новый мир тоже ни к чему.

— Верно, — согласился дядя Василий. — Ни к чему. А я не из-за того, я не ради школы и не из прочего: я ради тебя — ты для меня теперь вроде осьмушки всей вселенной представился, потому что от тебя мне внутри хорошо стало! Но только непонятно, пользы я не вижу...

— Держи пилу крепче! — крикнул Григорий сверху. И они вдвоем начали пилить бревно вдоль, во всю длину, дыша в два сердца в лад работе.

СРЕДИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Во мгле утренней природы по мелкорастущему лесу шел че-ловек с охотничьим ружьем. Охотник был немного рябой в лице, но все же красивый и еще молодой. В это время года в лесу стоял туманный дух от теплоты и сырости воздуха, от дыхания развивающихся растений, от тления погибших давних листьев. Видно было плохо, но идти одному и что-нибудь незначительно думать или, наоборот, забыться и поникнуть — было хорошо. Лес рос по склону невысокой горы; меж худых, маленьких берез часто лежали большие камни, почва была малопродуктивна и бедна — то глина, то сырая земля, — но деревья и трава давно жили в этой земле, притерпевшись к ее бедности.

Охотник иногда останавливался, и тогда он слышал топкий, разноречивый гул жизни мошек, мелких птиц, червей, муравьев и шорох земли, которую мучило и шевелило это население, что-бы питаться и действовать. Лес походил на многолюдный город, в котором охотник еще ни разу не был, но зато давно его вооб-ражал. Лишь однажды он проезжал Петрозаводск, и то мимо... Вопли, писк и слабое бормотание наполняли лес, может быть, означая блаженство и удовлетворение, может быть, гибель; влажные листья березы светились в тумане внутренним, зеленым светом своей жизни, незаметные насекомые колебали их в тишине преющего земляного пара. Какое-то далекое, небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии; должно быть, оно дрожало там от испуга собственного существования, не смея предаться радости своего сердца перед прелестью мира, боясь воспользоваться редким и кратким случаем нечаянной жизни, потому что его могут обнаружить и съесть безмолвные хищники. Свисток паровоза, тонкий, далекий, разрываемый ветром движением, раздался в лесах и в тумане, как жалобный голос бегущего измученного человека. «Полярная стрела!» — произнес охотник. — Она далеко бежит — там в вагонах музыка играет, там умные люди едут, они розовую воду пьют из бутылки и разговор разговаривают».

Охотнику стало скучно в лесу; он сел около пня и поставил ружье к дереву как ненужное. Ему обидно было, что он не знает науки, не ездит в поездах с электричеством, не видел Москвы и только раз нюхал духи из флакона у жены начальника десятого разъезда. Ему лишь приходится бродить в туманном лесу — среди насекомых, растений и некультурности, когда там мчатся вдалеке роскошные поезда. «Хоть зверь, хоть птица — кто явится, того и убью!» — порешил охотник. Но вокруг него по-прежнему шумели и жужжали одни мелкие, тщедушные существа, негодные для боя. Под охотником ползали усердные, обремененные хозяйственными тягестями муравьи, как маленькие добропорядочные люди: гнусная тварь с кулацким характером — всю жизнь они тащат добро в свое царство, эксплуатируют всех мелких и крупных одиноких животных, с какими только сладят, не знают всемирного интереса и живут ради своего жадного, сосредоточенного благополучия. Сейчас, например, муравьи растаскивали тело старого скончавшегося червя; мало того, что они тлю доят и молоко пьют, они и чужую говядину любят. Однажды охотнику пришлось видеть, как два муравья волокли от железной дороги железную стружку. Им и железо, оказывается, нужно. Они весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча. Охотник потоптал ближайших муравьев и ушел с этого места, чтобы не

расстраивать больше своего сердца. Он был похож на своего отца — тот на охоте тоже всегда сердился, воевал со зверями и птицами, как с лютыми врагами, тратил злобу сердца в лесу без остатка, а домой возвращался добрым, чувствительным, семейным человеком. Другие люди на охоте, наоборот, ходили по траве с нежной душой, били зверя с любовью и с дрожащим наслаждением ласкали рукою цветы и деревья, а дома, среди людей, жили с раздражением, тоскуя опять по природе, где они чувствовали себя начальниками благодаря ружью.

— Охота — либо глупость, либо бедность, Сергей Семенович, — говорил ему отец (после исполнения сыну восемнадцати лет отец его начал называть по имени и отчеству). — Ты видал: сидит человек один с удочкой на озере, нанижет червяка и обманывает безумное животное в воде: стервец! А другой взял ружье и пошел в чащу: никто, дескать, мне не нужен, живите себе без меня, а я один прокормлюсь, я один сам собой доволен... Ему собака — друг, а не мы с тобой...

Когда Сергей Семенович был мальчиком, отец ему показывал лица убитых зайцев и птиц — они были кроткие, и иногда даже умные, и есть их не хотелось, но потом приходилось.

Отец ел добытых животных и птиц экономно, разумно, приучая к тому же детей, чтобы погибший дар природы превращался в человеке в пользу, а не пропадал напрасно. Он советовал приобретать из мяса и костей убитых не одну лишь сытость, но и хорошую душу, силу сердца и размышления. Если же не можешь брать из птицы или зверя его лучшее добро, а хочешь только напиться, тогда ешь одну траву во щах или хлебную тюрю. Отец считал, что зверь и птица — дорогие души на свете, и любовь к ним — это экономическое дело.

Сергей Семенович поднял ружье. Что-то пошевелилось в небольшой, ближней траве. Он прошел туда немного. Там оказался маленький заяц, еще детеныш; он сидел почти человечески и быстро жевал травинку, помогая себе передними лапками, потом он утерся теми же лапками и стал часто дышать чистым, здоровым воздухом; он утомился, добывая себе пропитание с малолетства: родители его, должно быть, погибли, и он живет один сиротой. Охотника заяц не замечал или не понимал его значения. Оправившись, заяц скакнул и исчез. Сергей Семенович не убил его: он слишком мал и почти бесполезен для пищи, и жалко его, потому что он еще ребенок, а уже труженик. Пускай подышит.

Вскоре Сергей Семенович вышел на поляну. Тот же мелкий, пухлый заяц-младенец рылся там лапками в земле, добывая себе какие-то корешки или оброненный прошлогодний капустный лист. Он занимался заботой о своей жизни неумоимо, потому что ему надо было расти и есть хотелось беспрерывно. Поев то, что нашлось на земле, заяц начал играть со своим хвостиком, тремя лапками с четвертой, затем с остатком мертвой древесной коры, с кусочками своих отходов и даже с пустым воздухом, лоя его передними ножками. Отыскав водяную лужу, заяц напился, осмотрелся вокруг влажными нежными глазами, потом лег в ямку, свернулся в теплоту собственного тела и задремал. Он уже перепробовал все наслаждения жизни: ел, пил, дышал, осмотрел местность, почувствовал удовольствие, поиграл и уснул.

Сергей Семенович вспомнил, как он в детстве с удивлением и осторожностью рассматривал спящих собак, кошек и кур. Они жевали ртом, произносили блаженные звуки, иногда приоткрывали ослепшие от беспамятства глаза и снова закрывали их, шевелились, кутались в тепло своего тела и стонали от сладости и покоя своего существования во сне.

Охотник подошел к маленькому зайцу, поднял его и положил себе за пазуху; заяц пискнул и не проснулся, он лишь еще больше свернулся и пригрелся к телу человека, хотя сам был парной и горячий.

На Лобской Горе, как созвездие бедных звезд, стояла деревня в четыре избышки. Одна изба топилась, из нее шел дым в воздух, а на крыше другой избы сидел человек, размером в половину самой избы, и смотрел оттуда на Онежское озеро, в далекое место. Человек на крыше был в больших годах, но бритый, с оскобленным тщательным лицом, как зажиточный или ученый. Он совмещал свое колхозное положение со службой в Академии наук в качестве гидрометеорологического пункта — для измерения воды и бури. Сейчас он глядел на озеро,

наблюдая там ветер либо какие-то другие признаки и события, важные для науки. Сергей Семенович тоже хотел бы иметь такую должность, но там бриться надо, писать и разговаривать, а это он плохо умел делать и стеснялся.

В той деревне избы были маленькие, небогатые и некрашенные, но зато в них уютно бывает жить, и поэтому они кажутся достаточными, даже обширными, хотя жилища небольшие. Охотник пошел в самую худую, не имеющую вида избу. Деревянная крыша той избы сопрела и поросла ветхим мхом, нижние венцы погреблись в землю, точно возвращаясь обратно в глубину своего родного места, — и оттуда, из самого нижнего тела избушки, росли уже две новые слабые ветви, которые будут могучими дубами и съедят когда-нибудь в своих корнях прах этого изжитого, истраченного ветром, дождями и человеческим родом жилища. Избушка стояла на своем пустом дворе, который был огорожен кольями, камнями с берега Онеги, сложенными внаброску, ржавыми листами кровельного железа, принесенными сюда, наверно, бурей из дальнего города, и прочим дешевым или случайным материалом. Но эта огорожа уже не держалась — камни разваливались, колья накренились, издавна изморившись и сотлев в почве. Изба и огорожа были похожи на вдовье сиротское подворье, однако там жило большое, здоровое семейство — нерадивое, должно быть, либо несогласное меж собой. Но это неверно: старший человек на дворе Семен Кириллович — отец Сергея Семеновича — работал на лесопильном заводе и надеялся вскоре построиться заново, а старую избушку оставить на съедение под корень молодого дуба. Старик держал расчет на лучший век жизни, а прожитое время решил пожалеть и забыть.

Дома сидело в сборе все семейство. Отец налаживал в действие радио, которое он якобы получил в премию месяц приблизительно тому назад. На самом же деле он взял одноламповый радиоприемник на выплату через завком, а дома ради жены сказал, что радио дали ему в премию; хотя старик был сторожем на заводе, но он тоже хотел почета в семействе и мечтал о всенародной знатности. Однако его старуха скоро узнала всю правду, за какую честь получено радио, — разве что скроешь от старой, опытной жены.

Сергей Семенович положил зайчонка под печку и взял па руки свою десятимесячную девочку-дочку; она уже могла становиться на ножки и училась самостоятельно передвигаться; лет через шестнадцать-восемнадцать она сама будет невестой и тоже детей примется рожать, а пока пусть сейчас растет и отдыхает на родительских руках.

— Что ж одного зайца-то принес? — сказала молодая жена Сергея Семеновича. — У тебя семейство есть: надо думать ходить. Там теперь белочки есть, рябчики, тетерева живут, а ты зайчонка на игрушки принес. Пистоны только тратишь, лучше б обновку в дом купил...

Сергей Семенович приуныл в этих домашних условиях. Он воображал себе дальние курьерские поезда, свет электричества за шторами вагонных окон, радостную музыку, играющую внутри поезда, которую он слышал иногда, нажимая на противовес стрелки. Там была наука, слава, высшее образование, метрополитен, а здесь лес, животные, семейство, обычная вещь, но нужно пока терпеть и не ссориться.

— Бабы спокон веку зажиточность любят, — сказал отец Сергея Семеновича, — чтобы всего было много: и белок, и рябчиков, и материя в сундуке, — их дело такое: и детей и добро при себе держать...

И старик сразу пустил радио, чтобы слышать весь прочий посторонний мир, где происходит, как он говорил, всемирная история. Вначале старый человек мало доверял радиоаппарату: едва ли он научный, — думал старик, — разве можно за тысячу верст передавать пустяк в виде звука, наука не может заниматься такой шуткой, наука — дело важное, а радио — это случайность, и, кроме того, радио не могло писать, оно не оставляло документов, поэтому не было достоверности, что картонная трубка говорит правильно. Однако не так давно этот старый человек лично съездил в Петрозаводск и там подал прошение, чтобы его допустили сказать по радио несколько звуков; его действительно допустили, а он заранее велел своей старухе неотлучно слушать его каждый вечер, когда говорят всякие сведения и новости. И старик сказал

старухе из Петрозаводска: «Это я, Семен Кириллович Пучков, житель деревни Лобская Гора, старик-человек, чтоб ты не думала, что это не я, — это я, радио — это правда, сейчас я тебе покашляю — ты сразу меня узнаешь (здесь Семен Кириллович действительно покашлял раза три), — слышишь? Помнишь, когда я на тебе женился, ты вдовой тогда была, а я батраком у кулака, теперь он классовый враг, — ну кто ж тебе это говорит, как не я, — стало быть, я!..» Но в Лобской Горе Семена Кирилловича услышать в тот день не могли: радио испортилось, в нем что-то засохло или лопнуло. Старуха его, правда, сидела у рупора без отлучки, и ей даже иногда казались какие-то звуки из трубы, а это был обман. Вернувшись из своего проверочного путешествия, Семен Кириллович не стал раздражаться, что его не слыхала его контрольная старуха: «Все равно я теперь верю, — сказал дома старик, — а кто не верит — того прочь!» «Да уж видно так, — согласилась старуха. — Истопи мне завтра баньку, что я слушала-слушала тебя, оглохла вся».

Радио теперь заиграло. С обмиранием сердца слушали люди в деревянной избе далекую увлекательную жизнь. Сначала говорил пожилой, затем молодой, играла музыка таинственную песню, пела степная дудка и звонил колокол.

Потом хор девичьих голосов начал песню о счастливых людях и об их интересной жизни. Девицы пели на большом расстоянии отсюда, но все равно чувствовалось, что теперь нужно жить по-хорошему, а не в нужде и мученье.

Сергей Семенович слушал радио и ласкал свою дочку; он гладил ладонью ее головку и надеялся про себя, что его дочь будет высшим ученым человеком, а он, ее отец, проживет неважно: он стрелочник с лесного разъезда. Ребенок тоже слушал пение и музыку, а жена Сергея Семеновича тут же делала хозяйственные и культурные выводы, трудясь у печной загнетки:

— Ишь люди как живут: отсюда слышно... И обновки покупают, и дома строят, и сладко едят, и в театры ходят, танцуют, поют, науки изучают, в Черном море купаются, а здесь только и видишь заботу да работу...

— И верно, что так! — согласилась старуха, мать Сергея Семеновича. — Другие мужики, поглядишь, и за то и за другое примутся, глядь — и копейка в доме лежит... Теперь ведь не старое время, работают мало. Пришел с работы — чего дома сидеть! На сплав ступай, в бараки наведайся — там и печки новые кладут, и пни копают, и на кухню всегда черный мужик нужен... А то как же жить-то! — старуха разошлась характером, изводясь всем телом посредине избы. — А наши-то как явятся, так и расселись: в гости пришли! А то возьмет ружье — и в лес пошел. А зачем пошел, какой тебе рожон по траве посреди дубьев ходить: что там — куры с поросятами водятся, что ль, или сукно на сучьях висит! А зайчишки, а тетерьки — тьфу, что такое: если бы вы по целому возу их привозили, а то по одному, по два: угодье какое — мне старухе на один жевок не хватает... Да заткни ты трубу-то свою: нечего там слушать, когда я говорю!..

Старик остановил радио и умильно стал слушать свою жену дальше; возражать ей он ленился: пускай сама по себе духом изойдет, тогда и пообреет.

Но старуха начала действовать. Она схватила зайца-ребенка, прижавшегося к рогачу под печкой, вытащила животное на свет и стала его левой рукой таскать по полу, а правой бить по заду, потом по ребрышкам, где побольней, — туда злость ее выходила слаже, — и заяц, худой и жалкий, волочился по полу, молча бедствуя, пока старуха не изошла своей темной силой. Тогда она подняла зайца в воздух и выкинула его за дверь на двор: все равно пользы от него нету, пусть не гадит в избе. Заяц спрятался в траву, поплакал там немного по-своему, а потом оправил шерсть на себе, пробрался в скважину огорожи и скрылся в лесной стране, забыв только что испытанное горе ради будущей жизни.

Жена взяла у Сергея Семеновича девочку, ее пора было кормить — она уже дремала, насмотревшись на зайца.

— Там люди вон как теперь живут — с удовольствием, а вы что?.. У, щипаные хари! — обратилась старая хозяйка к мужу и сыну.

Старик и сын попробовали немного свои лица — они и вправду были рябоватые, щипаные люди, но это, однако, сойдет им безвозмездно, любить их есть кому. Умри, скажем, Семен Кириллович, и по нему самое меньшее двое людей заплачут, жена и сын. Достаточно!

— Открывай радио! — приказала старуха Семену Кирилловичу. — Мне слушать надо, а то упустишь, гляди, такое что-нибудь, а польза мимо пройдет...

Старый хозяин включил машину; радио сказало сперва нравоучение, а дальше заиграла нежная музыка. Мать Сергея Семеновича приложила правую руку к щеке, пригорюнилась, а потом стала улыбаться. Она желала бы быть доброй постоянно, но ей нельзя было — ведь все поедят, попьют, износят, а мужики перестанут работать, и тогда семейство помрет от нужды, двор зарастет лесом, выйдет заяц из кустов и будет гадить, где жил человеческий род.

Сергей Семенович Пучков заступил дежурить в ночь. Десятый разъезд был глухое место, погрузка и выгрузка здесь небольшая. Пучков осмотрел и почистил свои стрелки, исследовал с фонарем крестовины — он всегда боялся за них; паровозы тяжело бьют, вбегая на крестовину, и в ней может произойти трещина, а крушение на стрелочном переводе всегда большая беда, потому что и по здоровой стрелке поезд проходит с резким содроганием: здесь ехать составу больно. Если бы Пучков мог стать инженером, он бы выдумал стрелочный перевод поумнее, чтоб езда была более гладкой. Он стал на колени и пополз от стрелочного пера к крестовине, ведя рукою по головке рельса, по поверхности катания; он искал на ощущение возможные выбоины, щербинки или соструганные паровозным бандажом заусеницы. Время темное, фонарь светит бедно, поэтому ручное чувство дает более точное представление о стрелочном механизме. Никакого ущерба Сергей Семенович не заметил; есть одно небольшое вмятие, но оно неопасно.

Стрелочник очистил с брусьев старую сработанную смазку и обильно снабдил все места трения новой смазкой, чтобы было погуще, почище и безопасней. Он наблюдал, что стрелочное перо играет на богатой смазке, когда пропускает через себя тяжелый состав, оно как бы плавает в нефтяном жиру. Пусть играет — что играет, то не мучается и, стало быть, не лопнет. Затем Сергей Семенович вычистил и промазал балансир и попробовал его несколько раз на перекидку, чтобы весь стрелочный механизм пригартовался. Переводил он стрелку мягко, без всякого удара, так что каждое перо касалось неподвижного рельса с нежностью и расставалось с ним медленно, экономно натягивая за собою смазку.

Пучков в начале своей службы на железной дороге относился к металлу и к машинам, как к животным и растениям, — осторожно и дальновидно, стараясь при этом их не только узнать, но и перехитрить. Потом он понял, что этого отношения мало и недостаточно. К металлу и механизму нужно относиться гораздо более чувствительно, чем к зверю или растению, потому что живое можно действительно перехитрить, и оно тебе сдастся, его можно ранить, и на живом заживет. Машина же или рельс на хитрость не даются, их можно взять лишь чистым добром, и ранить их нельзя, на них не заживет: они лопаются насмерть. И поэтому Пучков вел себя на службе чутко и осторожно; он даже дверь в свою будку закрывал не с размаху, а бесшумно и деликатно, чтобы не тревожить железных петель и не расшатывать в них шурупов.

Дежурный по разъезду позвонил в будку по телефону: пусть Пучков приготовит стрелку для приема скорого поезда на проход. Сергей Семенович и сам помнил время поезда. Он уже глядел в темную просеку лесов, где лежал путь. Луны не было, слабые звезды находились высоко, однако рельсы блестели ясно и далеко, точно они собирали свет изо всей бедности тьмы, из его рассеяния во мраке. Пучков прилег ухом к рельсу и расслышал вечное пение металла — от течения воздуха, от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ. Рельсы звучали правильно, они были, наверно, целы и здоровы на всем протяжении. Но постепенно в их равномерный волнообразный гул вошло невнятное, постороннее бормотание. И бормотание становилось все более отчетливым, настойчивым, почти выговаривающим слова; эту речь говорил молодой, поющий голос — без фальши, без

звука дребезжащего раздражения, значит, рельсы нигде не имели трещины и на стыках не было большой выработки. Стрелочник поднял голову с рельса, высморкался, отряхнул сор с одежды и сделал более важное, серьезное лицо. С юга на проход, на Мурманск, шел скорый, спешащий поезд. Спокойный свет паровоза взошел из-за горизонта и погнал тьму вперед и по верху лесной чащи, освещая живые синие деревья, кустарники, таинственные предметы, неизвестные днем, фигуру путевого обходчика, сторожащего путь в темноте и одиночестве. Сергей Семенович сыграл на рожке долгий, приветственный сигнал о готовности входа на разъезд и почтительно вытянул руку с фонарем навстречу механику паровоза, своему незнакомому другу, единственному человеку, который сейчас следит за ним, будучи доволен, что все благополучно и что его ожидают. «Шибко идет, — подумал Пучков, — музыку не услышишь... Нажимает, дьявол, — опоздал минуты на четыре». При замедленном ходе скорых поездов или «Полярной стрелы» Сергей Семенович успевал иногда расслышать радио или патефон, играющие в поезде. Несколько секунд он вслушивался тогда в мелодию, не обращая внимания на прочий шум, и успевал насладиться музыкой. Если же музыка не играла, Пучков был доволен и тем, что удавалось рассмотреть какое-либо незнакомое странное или прекрасное лицо человека, глядящее через окно на здешние чуждые ему леса; стрелочнику было безразлично, кто это был — мужчина, женщина или дитя, — и неважно, куда ехал тот человек, лишь бы лицо у него было интересное и непонятное. Изредка Пучков подымал на пути после прохода поезда какую-либо вещь и долго смотрел на нее и вникал в ее значение. Затем он воображал человека, которому эта вещь принадлежала, и успокаивался лишь тогда, когда ясно представлял себе в своей фантазии этого промчавшегося, безывестного пассажира. Благодаря пустой папиросной коробке, ключу для консервных банок или комку ваты Сергею Семеновичу приходилось думать о характере, лице и даже о цели жизни того человека, который только что миновал его в поезде...

Катерина Васильевна села на рельс и еще раз подумала: а будет ли что особенное на Медвежьей Горе?

— Ну, пиши прошение, — разрешила она. — Пусть надбавку на жалованье дают. Чернилами бумагу не закапай, всегда капашешь, а там подумают — ты неграмотный, и надбавку сбавят.

Сергей Семенович поглядел на жену и подумал: «Красивая она или нет? Волосы у нее черные, сама не старая, в общем — ничего».

Начальник разъезда не стал слишком задерживать Сергея Семеновича: пусть растет человек на большой станции, где есть театр, библиотека, интеллигенция, музыка; можно отказать человеку в лишнем рубле или в удобстве жизни, но в душевной нужде отказывать никому нельзя, иначе не станет ни человека, ни работника.

С тех пор стрелочник Пучков начал ездить дежурить на Медвежью Гору. И он не бывал в семействе по двое и по трое суток, потому что после очередного дежурства оставался смотреть представление или шел в библиотеку и там читал книги в культурном зале, с восхищением посматривая на портреты великих писателей; он читал книги с середины, с конца, перемежая страницы через одну и две, любым интересным способом, и наслаждался чужою высшей мыслью и собственным дополнительным воображением. Если ум его уставал, он выходил проветривать голову. Но снаружи, на улице, всегда где-нибудь играла музыка — либо гармония в рабочем общежитии, либо патефон из окна квартиры зажиточного служащего. И тогда Сергей Семенович подолгу застаивался на ногах или садился на местный камень и слушал игру полностью до конца, счастливый и готовый на подвиг.

Наконец, наработавшись, наслушавшись музыки, прочтя книги, Сергей Семенович являлся домой на Лобскую Гору, в избу, которая превращалась в корень дуба. Катерина Васильевна встречала его в тоске и в ревностной злобе; она была уверена, что муж ее явно любит другую, лучшую женщину, неизвестную ей прекрасную злодейку.

— Ты вот там удовольствие себе получаешь, — указывала жена, — а стрелка у тебя, должно быть, грязная стоит. Как же ты в люди выйдешь, когда ж нам жизнь полегчает! Лучше б ты век вековал на десятом разъезде, там бы я за тобой глядела...

Семен Кириллович, выслушав подобный разговор сына с невесткой, звал обыкновенно Сергея Семеновича на охоту — к животным и растениям: дитя всегда дорого, даже когда оно уже пожилое.

— Кто его знает: может, так и надо, чтоб бабы ругали нас постоянно, — рассуждал старик. — Они ведь людей рожают, они хозяйки человечества, им видней... А вот одного они боятся, это когда как шарахнешь что-нибудь в жизни, так либо ты герой, либо покойник. Вот им удивление-то! А так им ничего не страшно — это нет! Да и тебе пора бы уж стать чем-нибудь, — советовал отец сыну.

Старуха вздохнула и сказала мужу:

— Чем ему стать-то? Покойником, что ль?.. Гляжу я на тебя, старик, и думаю себе: где я девкой была, когда в женихи тебя выбирала!

— А ты мне измени! — советовал отец Сергея Семеновича.

— Да и придется! — соглашалась старуха. — Дай только тело наем: я ведь пышная, я статная была, я женщина хорошая... Бывало, как выйду на улицу, как топну ногой, так ваш брат и в тоску вдастся... Зря мой век прошел, я бы его снова прожила! Ух и прожила бы! Да что мне тужить, я и теперь проживу как молодая, что у нас — иль власть-то не Советская...

На Медвежьей Горе Сергей Семенович работал еще более тщательно и задумчиво, чем на десятом разъезде. Здесь, на Медвежьей, было больше руководства, больше культурности, поэтому Пучков чувствовал себя еще более, чем прежде, скромно и застенчиво и от застенчивости увеличивал свое прилежание. Постоянно видя могучие паровозы, точные механизмы сигнализации, слушая гул скоростей тяжеловесных поездов, стрелочник чувствовал торжество своего разума, словно и он был тоже повинен во всей этой технической силе мира и во всей прелести ее. Втайне и неясно он улавливал соответствие или родство между музыкой, книгой и паровозом; ему казалось, что машины и музыка выдуманы одним сердцем, и это сердце было похоже на его собственное.

Начальник станции знал своего нового стрелочника давно, еще когда Пучков был мальчиком и ходил с ним на охоту. Он выдержал его небольшое время, а потом назначил старшим стрелочником. Теперь у Пучкова стало под рукою несколько стрелочных постов и младшие стрелочники на них. Не зная, как нужно начальствовать, Сергей Семенович стал сперва работать за всех: сам чистил каждую стрелку, сам заправлял ее смазкой и выходил встречать каждый поезд, не обращая внимания, что поезд уже встречает второй стрелочник. Пучков все равно следил лично: правильно ли стоит стрелка и хорошо ли она работает при движении. Младшие стрелочники дежурили в недоумении.

— Что ж ты, Сергей Семенович, нас за рабочий класс не считаешь? — говорили они. — Чего ты сам переводы мажешь, мы тоже здесь не в виде пустяка находимся.

— А вы можете так же делать, как я? — спросил их Пучков. Один пожилой младший стрелочник ответил:

— Кто ее знает!.. Так же, как ты, едва ли: мы лучше будем делать.

— Я там погляжу, — сумрачно сказал Пучков. — Вы сюда только служить ходите, а я здесь живу и чувствую.

Много времени Сергей Семенович проверял работу своих младших людей и наконец увидел, что они делают все хорошо, но не лучше его самого. У них не было понятия, что машины и механизмы — это сироты, которых надо постоянно держать близ своей души, иначе не узнаешь, когда они дрожат и болят, и не успеешь ничего сделать, пока в стрелке не раздастся треск и смерть.

Мать Сергея Семеновича, постоянно внушая мужу и сыну мысль о лучшей жизни, сама тоже постоянно заботилась, чтобы в избе было много пищи и добра.

Чуть освободившись от домашнего хозяйства, старуха сейчас же шла либо в лес за грибами и орехами, либо на озеро посмотреть, не прибило ли чего к берегу: сплавное бревно, мертвую испорченную рыбу или еще что-нибудь полезное. В то лето, как ее сын поступил на Медвежью Гору, погода была сухая и грибы не рожались, поэтому старая хозяйка стала заготавливать орехи. Она нашла дальний глухой орешник и ходила туда через день с большой кошелкой.

Ходить ей приходилось мимо лесной сторожки, в которой жил бессемейный старичок. Однажды, возвращаясь с орехами ко двору, старуха увидела дым, выходящий из-под деревянной крыши. Старая хозяйка поставила на землю кошелку с орехами и пошла в сторожку. Но дверь в сени оказалась запертой на большой казенный замок — сторож, наверно, ушел в обход по участку. Старуха, не видя лучшего, взяла небольшую жердь, вдела ее под замок, между пробоями, и вывернула всю снасть. В сторожевой избе на полу костром горела сухая трава, сложенная в запас на растопку, а печь была только что истоплена и закрыта. Сторож-старик, наверно, сварил себе пищу и, когда загребал жар в печке, обронил уголек на пол, либо этот уголек прилип к горшку, а от горшка сам отвалился, когда горшок выставляли из печки.

Сторож ушел, а горячий уголь стал тлеть, согрел травяную сухую ветошь и поджег ее.

Мать Сергея Семеновича не испугалась пожара, она схватила по памяти ухват из-под печки, потому что в дыму ей плохо было видно, разворошила ухватом горящую траву по всей избе, чтобы пламя разделилось и ослабело, а затем затоптала огонь живьем, — благо, что башмаки на ней были старые и жалеть их нечего. Откашлявшись от дыма, старая хозяйка отыскала кружку, зачерпнула воды в кадке и в несколько раз залила ведею последнее тление травы. Пол еще не успел заняться, он только обгорел.

Дождавшись сторожа, который вернулся из обхода вместе с помощником лесничего, старуха объяснила им, что тут случилось, и пошла к себе на Лобскую Гору. Дома она ничего не сказала и вскоре сама про себя уже перестала вспоминать про огонь в лесной избушке — ей и так много помнить приходилось, что было более необходимо. Но месяца через полтора — к осени — ее вызвали в контору лесничества и на дворе конторы со склада старой женщине выдали премию: патефон с двадцатью пластинками и вязаную кофту, а юбку обещали добавить потом, когда будет получен суконный материал.

Семен Кириллович вдался в тоску, когда его старуха получила патефон и кофту. Он попробовал свои мускулы, погладил себе голову, содержащую, по его мнению, ум, и ощупал остальное тело, осталась ли еще в нем сила?.. А старуха ничего ему не сказала, она не похвасталась и не попрекнула его: что же, дескать, дела-то ведь вот какие на свете, а ты думал — все шутки!..

Старик вздохнул, взял ружье и пошел в лес стрелнуть что-нибудь.

— Ты куда? — окликнула его жена. — Опять по кустам ходить, одёжу рвать, — лучше б в кружке где-нибудь учился... А то принесет белку или зайчишку — гляди, изобилие какое!

— Дай хоть я пойду кислородом-то подышу! — отзывался старик. — Я силы хочу прибавить, чтоб работать было способней...

— Каким таким кислородом? — с интересом удивлялась старуха. — Я вот сроду им не дышала, а гляди, какая вышла — ты мне теперь не под стать...

— Я старик отстающий! — соглашался Семен Кириллович.

— Отстающий? — спросила жена. — Вернись только с охоты без всего — я тебе отстану тогда! Ты хоть в лесу-то первым будь, там же хищники живут.

Сын, вернувшись с Медвежьей Горы, тотчас же попросил мать завести патефон.

— Старые носят, а молодые просят! — тихо произнесла мать и завела веселую музыку на пластинке. Она уже знала, как действует механика в патефоне.

Катерина Васильевна пригорюнилась и засмотрелась на мужа.

— Ты чего? — спросил ее Сергей Семенович.

— Я-то ничего, а ты вот — неудельный! — сказала жена; она отвернулась лицом и заплакала: у людей и патефоны, и кофты, и мужья начальники, а у нее мало всего, одна изба, и то пополам со свекровью.

Она согнулась над колыбелью своей дочери и затихла в печали своей судьбы.

Сергей Семенович глядел в окно, в лес: убежать туда, что ли! Но ведь лес тоже вырубят когда-нибудь, а в человечестве жить теперь становится все более загадочно и хорошо. По железной дороге на платформах везут великие машины и дворцы в разобранном виде, в библиотеке толстые книги лежат, красивые люди едут мимо в поездах...

На следующее дежурство Сергей Семенович прочитал приказ начальника станции, что старший стрелочник товарищ Пучков повышается в зарплате и временно назначается сцепщиком, на дефицитную и ответственную профессию.

В тихий краткий день глубокой осени в тупиковом пути шла погрузка шпал. Человек десять мужчин и женщин поднимались со шпалами по мосткам на платформы, складывали там шпалы и сходили вниз, чтобы опять брать груз на плечи.

На выход тупик поднимался круто в гору, на большой подъем; туда паровозам приходилось вывозить груженные платформы, работая песочницей и форсируя топку во весь сифон. Шесть человек, целая бригада, лежали под вагонами и дремали, не тратя сил на пустую жизнь, когда нечего делать. Для этой бригады еще не подали платформу, и люди ожидали работы.

Для них старался сейчас Пучков на станции. Он подогнал паровозом порожнюю платформу к спуску в тупик и велел машинисту остановиться: дальше платформа пойдет самоходом, а под уклоном сцепщик ее примет на башмак. Чтобы платформа не ушла, Сергей Семенович подложил под один колесный скат старую бесхозную шпалу, которая лежала без назначения возле пути, и пошел снимать сцепную стяжку, чтобы освободить паровоз. Но платформа сильно отошла от паровоза и стяжка натянулась в струну, поэтому Пучков крикнул механику: «Нажми маленько!» Механик нажал, стяжка провисла, и Сергей Семенович легко сбросил ее со сцепного паровозного крюка.

Платформа потянула Пучкова от паровоза под уклон, сцепщик ухватил стяжку обеими руками, чтобы окоротить вагон, но шпала, подложенная под скат, хряпнула от хода колес, и железо стяжки начало жечь руки — вагон уже повис над уклоном, в конце которого шла погрузка. Однако Пучков уперся ногами в путевую рабочую шпалу, решив не жалеть кожу на руках, — она сейчас сгорит, а потом зарастет опять. У него загудели ноги от усилия в костях, его повезло волоком за вагоном, он сообразил, что пользы нет, и выпустил из рук сцепной прибор.

Внизу работали люди, — кто будет жить, с кем придется водиться, кто сыграет на музыке, если внизу вагон подавит насмерть людей?.. Пучков знал, что там есть и женщины, а они могут родить и тех, кто сумеет писать книги или будет хорош сам собою по сердцу и характеру, кто споет когда-нибудь неизвестную песню или вообразит в своем уме в будущем рябоватого стрелочника с Медвежьей Горы и скажет: жил давно один бедный человек на свете.

Сергей Семенович бежал рядом с разгоняющимся вагоном. Он подымал попутные доски и колья, бросал их под передний скат, но вагон сокрушал их с разгона и набирал скорость вперед. «Без них плохо станет на свете, их будут хоронить в гробах с цветами, страшная музыка заиграет!» — решал в уме судьбу нижних рабочих Пучков. Он схватил с балласта путевой железный лом и с точным прицелом всадил его между спиц бегущего вращающегося колеса в переднем скате. Лом развернулся в воздухе и свободным концом сбил Пучкова с ног, а затем поддел и подбросил уже беспмятного человека ко второму скату, так что Пучков ударился головой о буксу. На втором и третьем повороте колеса лом начал гнуться и корчиться, потому что он задевал свободным концом за балласт и за шпалы; согнувшись, он впился между шпалами в песок, а две спицы в колесе взял враспор, посинел на сгибе от напряжения, от температуры и удержал вагон на месте.

Пучков лежал на песке и слышал, как машинист сказал: «Пучкова зарезало!»

«Нет, — подумал Сергей Семенович. — Это неверно».

И он встал, чтобы узнать, что случилось.

— Ты живой или как? — спросил у Пучкова механик.

— А ты? — спросил Сергей Семенович и почувствовал, что его правая рука вся холодная, точно к ней привязали лед и он сосет из его тела тепло, доставая холодом до середины сердца.

— Поедем на паровозе, — сказал механик.

Однако Пучкову хотелось пить; он открыл кран в тендере паровоза, и оттуда полилась вода ему в рот, а кровь из его правой руки лилась в рукавицу и в пиджак с исподней стороны, она даже пробиралась по ноге за штанами до ступни ноги. Сергей Семенович заметил, что кровь течет безобразно, что он скоро может стать совсем пустым, и велел кочегару нести его правую руку на весу, чтоб она не вытекла вся на землю.

Потом принесли носилки и Пучкова положили на них для покоя. Сергей Семенович почувствовал, что с него трудно снимают сапоги, а правый сапог промок кровью, портянки разбухли и не дают сапогу сойти. «А в гробу засохнет и будет ногу жать!» — подумал Пучков и заснул, чтобы не знать своей смерти.

Отец, мать и жена пришли в больницу и стояли около Сергея Семеновича, а он их не замечал вокруг себя.

— Сереженька, что же это сделалось с тобою! — говорила мать. — Мы бы и так прожили, нам ничего не надо...

Проснулся Сергей Семенович не скоро. Кругом тихо и чисто, постель большая. Сергей Семенович не знал, есть у него правая рука или нет. Видит, что есть, лежит рядом с ним, но неизвестно — при нем ли она заодно или лежит отдельно. Он взял ее на испытание и пошевелил пальцами. Пальцы жили, значит, рука будет, а смерть давно прошла мимо.

Вскоре к нему пришли разные люди — начальник станции, парторг, жена Катерина Васильевна, фотограф, машинист, две женщины из тех, которые грузили шпалы в тупике; одна из этих женщин принесла Пучкову букет цветов и две жамки.

— Он здесь и так сыт, — сказала Катерина Васильевна тем женщинам, — чего вы напрасно свои деньги тратите и больного тревожите!

Женщины застеснялись и ушли.

После больницы правая рука у Сергея Семеновича действовала не вполне и слабо.

— Окалечился теперь! — говорили ему семейные. — Чем работать будешь?

— Головой научусь! — отвечал Пучков и смотрел через окно в лес.

Но жена и мать относились к нему все же ласково и хорошо. Сельсовет и железнодорожная власть дали Пучкову денег тысячу рублей и назначили пенсию на всю жизнь.

Начальник станции через каждые три-четыре дня приходил в гости к Пучкову на Лобскую Гору и готовил его учиться на дежурного по станции. А один раз на Лобскую Гору поднялся автомобиль, и к Сергею Семеновичу приехали сразу шестеро людей, которые привезли ему телеграмму из Москвы с поздравлением, что ему полагается получить орден.

Пучков не спал две ночи от сильного течения мысли, пока на третьи сутки опять не пришел за шестнадцать километров начальник станции. Но он не стал заниматься с ним наукой об эксплуатации железных дорог, а сказал только: «Давай собирайся, мы поедем в Москву». Сергей Семенович не стал ничего есть, выпил лишь стакан молока, поцеловал на дворе жену и дочь и отправился. Катерина Васильевна заплакала, она подумала, что муж теперь разлюбит ее и не вернется, а дочь ничего еще не понимала, она только прижалась к отцу на прощание.

В следующие новые дни Катерина Васильевна сильно тосковала на Лобской Горе по мужу и часто плакала по нем, пряча свое горе от свекора и свекрови. «Он там парашютистку полюбит! — думала она. — Ведь они летают, у них личики, говорят, такие хорошие. А может, его сам народный комиссар при себе оставит, где я тогда буду?» Но, вспомнив, что у мужа рука-то

правая почти не действует, жена утешалась: калеку едва ли кто полюбит, теперь барышни хитрые. Хотя, что же, рука ведь у него цельная, да и заживет она еще...

Сергей Семенович вернулся через месяц. Он был в черном суконном костюме, весь спокойный, точно чужой человек, и его привезли в деревню на автомобиле. Жена села перед ним на лавку и ощупала руками его самого и материал, который был одет на мужа.

— Хорошо там? — спросила она.

— Хорошо! — сказал Сергей Семенович. — Я там американку видел в метро: она коричневая.

— А красивая? — спросила жена.

— Так себе! — ответил муж.

— Ты кто же теперь? — пыталась Катерина Васильевна. — Начальник?

— Стрелочник старший... Начальники ученые, а я нет. Он вынул орден в коробке и показал жене. Катерина Васильевна орден взяла и спрятала в сундук.

— Я носить его должен, зачем ты прячешь? — сказал Сергей Семенович.

Жена отдала ему обратно пустую коробку:

— А ты коробку будешь показывать! Перед кем тебе орденом хвастаться, — мы и так знаем, а другие пусть не завидуют...

Пришла мать с дочкой. Сергей Семенович взял девочку к себе на руки, чтобы поласкать ребенка и дать матери свободу поплакать от радости.

— Что ж ты один костюм-то привез? — сказала мать, управившись со слезами. — Ты бы хоть два: себе и отцу...

— Я один только взял. Два ведь не наденешь, надо один износить сначала.

ФРО

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание; провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек придет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний

Восток, настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то: жена точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжело бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девяти тысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если с его точки зрения на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!» — «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?» — «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть выдавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника. «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения. В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вождения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несатытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой;

позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находился фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам, женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору; долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год, и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду, твоя покойница мать и то скучала: мешанка была!

— А я вот не мешанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мешанка...

Отец успокоил ее:

— Ну какая ты мешанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мешанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма — мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится — зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает, — все как полагается!..

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь; она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Ну, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!..» «Ту-ту-ту-ту» — паровоз: «ру-ру-ру-ру» — самолет; «пыр-пыр-пыр-пыр» — ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори «ту-ту», «ру-ру», шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но, пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму,

забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь — про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что курьерский поезд номер второй — он благополучно едет? Он днем уехал от нас... Что на станцию — ничего не сообщали о нем?..

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается: идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится — лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина, нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам... — Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свою топку, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак вверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми-подругами и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения!

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдышаться и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним любовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвратится! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там в аресте заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала...

Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится; думает, я преступница — важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку — пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу: у меня двенадцать копеек есть, хватит на один стакан, мы пополам его выпьем. А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж стакан сладкой воды он выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем и выпьем целую бутылку... Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила... Ну, давай платформу кончать: в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?

— Не, — ответила тамошня Фрося. — Тут малость, поскребышки одни...

— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Пришел нарядчик.

— Ну, как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну валите в контору, я сейчас приду. А там — деньги получите — там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева» с серпом и молотом на конце вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне на сундуке, вполне одетый, даже в толстом зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом; она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился: почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну, конечно, да, — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше!

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бэби», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро?.. Вы не русская?

— Ну, конечно, нет!

Диспетчер размышлял:

— Почему же нет?.. Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Неважно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей, и там оправилась.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще

темным утром, потом она опять уснула, и тогда слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой, рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и, больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно!» Но, обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, любил тратить деньги на пустяки, собирался поехать в южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было, сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорее, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец немного умолкал, потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние! Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали.

— Просился, не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он знал, что дети — наши враги, и не сердился на врагов. Однако он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегая в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.

Вдверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные — он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок: там лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две... Дали паровоз серии «Щ»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, и закрыла дверь квартиры.

«Играй! Отчего ты не играешь?» — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась: еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос, он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принялась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую

коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает, — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: обойдемся так.

Весь вечер Фрося ходила путями станции, к ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила: к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми, — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад — казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

— Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь! — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть.

Фрося огляделась в сумраке и принялась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письмо или телеграмму от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося не спросила его ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесаря попутных станций не сняли с машины деталей, где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побил. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносец. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам

и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила Фрося, — это с вычетами». — «А во время месячных очищений вы тоже ходите или дают послабление?» — «Послабление, — сообщала Фрося, — казенный пояс дают, я еще не получала его». — «Дадут, — обещал адресат, — он ведь полагается». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, выходит под редакцией редколлегии, там люди умные — вы видите — и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка, это что — одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее даже пытались угощать вином и закуской и ей жаловались на свою частную текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы, он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, а ей некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она, протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась; ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо. После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чаю, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо: он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить... Только ты сам не читай телеграмму, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму: мало ли что, решил он, может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть.

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дому.

Через двое суток пришел ответ молнией: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибыл транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу:

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно, — согласился старик, — сейчас пойду. Возьми у меня чемодан. Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя. С приездом.

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в щеку.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, — сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал «а», должен говорить «б», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а именно так», — и тому подобное. Но Фро сама догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б», а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверно, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать.

Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались, — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека. Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дому ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа; у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили, не разлучаясь, уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор жену на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся во дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой, детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта... Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал — мешать вам буду...

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь — что получится!

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глазеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости.

— Сейчас, — ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

СВЕТ ЖИЗНИ

В глубине нашей памяти сохраняются и сновидения и действительность; и спустя время уже нельзя бывает отличить, что явилось некогда вправду и что приснилось — особенно если прошли долгие годы и воспоминание уходит в детство, в далекий свет первоначальной жизни. В этой памяти детства давно минувший мир существует неизменно и бессмертно...

Росло дерево где-то на поляне, в окрестностях родины, освещенное июньским полуденным солнцем; свет неба лежал на траве, и от волнения зноя тень древесных листьев неслышно трепетала по травяной сияющей земле, словно видно было, как дышит солнечный свет.

Томительно и скучно было сидеть десятилетнему мальчику Акиму под тем деревом, но в сердце его жило само по себе, тихое, счастливое чувство, питаемое теплом земли, светом солнца,

синим небом над далекими полями и воображением всего этого видимого, еще непривычного мира внутри собственной детской души, как если бы и трава росла, и свет светил, и ветер шевелился не снаружи, а в глубине тела Акима, — и ему интересно было жить за них и воображать, что думают и чего хотят ветер, солнце и трава. В детстве весь мир принадлежит ребенку, и Аким все, что видел, превращал в собственное переживание, думая про себя как про дерево, про муравья, про ветер, чтобы угадать, зачем они живут и отчего им хорошо. Мать велела ему уйти со двора гулять и не приходиться до обеда, а еще лучше — до ужина, чтобы Аким не просил раньше времени есть. Аким обиделся на мать: «Я совсем к вам больше не приду, живите одни, или вернусь на старости лет, когда вы все умрете, а я один буду». У матери Акима было много детей без него, она утомилась от нужды и семейства, и она сказала сыну:

— Вот обидишь-то! Вот заплачем-то! Да уходи, куда хочешь, век тебя не видать!

И Аким ушел из дому; он любил ходить вокруг своего двора в просторных полях, в кустарниках, по склону большого оврага, заросшего березовой рощей, и каждый раз находил тайные задумчивые места, где он никогда не был. Увлеченный своим интересом и наблюдением, тихо, как дремлющий, шел в природе маленький Аким. И однажды он вышел на дальнее поле, что находилось над рекою Старая Сосна. Был летний праздник, люди ходили хороводом по полю у опушки леса; они рвали ветви с листьями, собирали цветы на межах у растущих хлебов и завивали венки. Они пели песни, держали друг друга за руки, и чужая мать, пахнувшая цветами, обновками и теплым лицом, — не так, как пахла мать Акима, — чужая женщина взяла к себе Акима на руки и стала его целовать, стала с ним играть и смеяться, а потом накормила его белыми пышками. Здесь гуляла чужая деревня: в Акимовой деревне пшеницы не сеяли и белого хлеба не пекли, у них ели черный хлеб, картошку и лук. До заката солнца пробыл Аким посреди чужих людей, глядя в их незнакомые, милые лица, слушая игру на гармонии и позабыв свой дом. Он сидел на обрыве земли над рекой. За той рекой, на другом берегу, лежали луга, и Акиму было видно, как там вдали, на земле и на небе, кончался день — свет скрывался в туман, в синий вечер, в большую и страшную ночь, где уже сверкают зарницы над глубокими травами, поникшими в сонной росе.

Наступило время, стало поздно, и Акиму давно было пора идти домой, но ему не хотелось, он думал совсем остаться здесь, где очутился. И одна большая, веселая и босая тетка из чужой деревни взяла Акима за руку и повела его с места, чтобы малый шел спать к своему двору. Тетка вывела Акима на межселенную межу и оставила его там, дальше он сам найдет дорогу в свою деревню. Аким и без тетки знал, что отсюда начинается земля его деревни, но ко двору не пошел. «Не пора еще», — сказал он сам себе; он не любил уходить оттуда, где ему нравилось, и оглянулся назад, на тетку. Чужая тетка бежала большими ногами обратно к своим по сырой вечерней траве. «Толстая, сытая, — подумал про эту тетку Аким. — Харчи едят... Не пойду я домой, чего я — отца с матерью не видал: увижу. Ворочусь обратно к чужим, они по своим дворам пойдут, и я с ними, они меня примут в гости, а я у них наемся белых пышек и блинов: пузо станет, как барабан, сразу вырасту, большой буду, уйду в дальний край... Нет, обожду в чужую деревню ходить, пускай они меня сначала забудут, а я сзади них пойду. А то эта тетка толстая вспомнит меня и прогонит: ты опять, скажет, здесь, иди отсюда, полуночник! — Обожду... А уж пойду к ним в гости, попрошусь дней на пять или на четыре. Пускай дома хлеба больше останется, тогда мать с отцом наедятся получше и братья с сестрами. Паньке и Дуньке, Сеньке и Фильке моя доля прибудет, и никто в нашей избе ругаться и поганить черным словом не будет».

Аким сел под зреющую постаревшую рожь и осторожно потрогал рукою колос. Затем Аким наклонил этот колос и рассмотрел его: в колосе наливались влажные, нежные зерна хлеба; Аким решил, что они такими и должны быть, потому что дожди идут частые, росы тоже ничего, только хлеб все равно выпекается в печке черный и кислый, непохожий на эту светлую рожь.

В полях и на небе потемнело, запахло сырой сонной землей и цветами, склонившими свои высокие головы вниз, на плечи соседней травы. Аким посмотрел на рожь — ее колосья

дремали, значит, хлеб тоже хотел спать, и Аким, подумав, прилег головою на ком выпаханной земли, чтобы подремать наравне с травой и рожью.

Засветились звезды на небе. «А они проснулись и глядят! — увидел звезды Аким. — Я тоже не буду спать, а буду глядеть, а то мужики и бабы вернутся ко двору в свою чужую деревню, сядут ужинать и поедят всю еду, а я так останусь, а у них, сразу видать, харчи хорошие — люди у них белые, сытые, горластые... Нагулялись теперь, придут и поедят все без остатка. Пойду и я за ними, а то не управлюсь!»

Аким вышел на ночную поляну над рекою. Там было уже пусто, люди ушли на ночлег, лишь вдалеке на другом берегу реки светились четыре огонька в избушках таинственной чужой деревни. Аким пошел по росе туда, боясь опоздать к ужину.

В курене, около деревянного моста жил древний старик; он сидел сейчас у маленького костра и грел себе на ужин кулеш на горящих щепках или суп с картошкой и луком — что-нибудь одно. Аким спросил у старика:

— Дедушка, а ты не видел — народ тут проходил на свою деревню, мужики и бабы, или нету их еще? Они там вон песни пели, ничего не делали.

Старый человек сидел, склонившись над пищей в котелке, он не поглядел на мальчика и не ответил ему: должно быть, ему надоело уже и примечать, что делается вокруг него, и говорить, и думать — пускай творится везде, что хочет, а его дело уже прожитое. В дневное время этот старик постоянно чинил мост, а ночью сторожил его, но мост все равно умирал, потому что дерево на мосту обветшало от старости лет, оно дышало, как пустое, под ногами Акима.

Где теперь, спустя целый человеческий век, тот деду деревянного сельского моста? Может быть, живет и дышит еще где-нибудь: привык жить, а отвыкнуть забыл. А мост, наверное, давно снесен полой водой. Но что там есть теперь — через пятьдесят с лишним лет? Кто жив еще из людей, завивавших венки на высокой поляне во времена детства Акима, и что растет теперь на той земле — обычная трава или нет, и какие там стоят технические сооружения?..

Аким перешел мост и, чтобы меньше бояться тьмы, побежал скорее через луг на свет в окне, горевший ему навстречу из чужой деревни.

Крайняя избушка, в которой горел свет, была небольшая и неважная на вид. Аким влез на завалинку и поглядел внутрь избы, что там делается. В горнице за столом, покрытым скатертью, сидела худая женщина и ела ужин из чашки. Аким подумал про женщину, что она старуха, — для него все люди тогда, кто немного-старше его или больше ростом, были стариками и старухами. Около женщины стояли прислоненными к столу два костыля. «Она, значит, хромолыдка! — решил Аким. — Сидит одна, венки завивать не ходит, ей не нужно». Он тихо постучал в стекло. Хромая женщина обратила свое лицо к окну, и Аким увидел незнакомые добрые глаза, спокойно глядевшие на него из глубины чужого сердца, словно издали. Женщина взялась за костыли и пошла, опираясь на них намученными руками, чтобы отворить дверь и встретить гостя.

Аким вошел в избу и спросил хромую:

— Ты тут живешь?

— Тут, а где же? — сказала женщина. — Садись ужинать со мной.

— Наливай в чашку и ложку давай, — согласился Аким.

Но женщина села обратно на лавку и составила свои костыли.

— Сам себе налей, — сказала она. — В печке горшок с молочной лапшой стоит, лапша еще теплая... Ты видишь, я хромая. Бери мою чашку и ложку, я наелась. Хлеба себе отрежь, — сеяного возьми, черный я весь поела.

Аким начал самостоятельно управляться по хозяйству, а женщина молча следила за мальчиком с тем опечаленным терпеливым смирением, которое походило на скромное, но нерушимое счастье.

— Уж солнце-то давечь зашло, — сказала хозяйка и спросила у Акима: — А ты сам-то чей? Куда ты идешь в темное время такое?

— На шахту иду, — ответил Аким; он еще не думал, куда ему идти, но сейчас решил тронуться туда; у него дядя работал шахтером около Криндачевки, он письмо прислал оттуда, давно уже, и писал, что шахтеры живут сытно; отец Акима читал письмо вслух, по всем буквам.

— Уморишься, — произнесла хромая. — И по тебе отец с матерью соскучатся.

— Отец с матерью привыкнут, а потом забудут, — говорил Аким, кормясь молочной лапшой из большой чашки. — Я им заработки буду присылать, когда деньги скоплю.

— А ты откуда родом-то? — спрашивала женщина, и лицо ее воодушевилось интересом к посторонней жизни, забытым в болезни и одиночестве.

— Я нездешний, — рассказал Аким. — Я сам с Меловатки.

— С Меловатки? — удивилась хромая женщина. — Так от нас туда версты полторы будет ли, нет ли?.. Какой же ты нездешний?

— Я недалний, — соглашался Аким. — А ты чем больна, ногами?

— Добро бы одними ногами, — произнесла женщина, — а то я всем больна: слабостью... Доедай всю лапшу, не оставляй ничего — некому есть.

— Я всю, — сказал Аким. — А кто тебя кормит?

— Сыновья у меня. Они в разделе живут, из-за снох, а сами добрые и кормят меня хорошо, жаловаться не на что, — отвечала хозяйка избы. — Да мне помирать уже пора.

— Живи, чего тебе, — сказал Аким. — Харчи есть, в избе покой. У нас хуже.

— Не к чему жить... Я стара, больна, ходить не могу, побыть со мной некому, у всех своя нужда, чужая душа... Поел, что ль? Пора укладываться, я лампу буду тушить...

Акиму хозяйка велела достать из сундука чистую циновку и ложиться на пол, а потом она задула лампу, с трудом и болью забралась на кровать и утихла на ночь.

И пришлый Аким прижился в чужой избе. Он помогал хромой хозяйке убирать горницу, ходил по воду и приносил солому и хворост на истопку печи. Больной женщине было сподручней и веселей жить с Акимом, и она его не гнала от себя, только говорила, что отец с матерью скучают по Акиму и ему бы пора навеститься домой. Но Аким не хотел: «Домой я успею, — отвечал он — у нас земля малодушная — суглинок, песок, известка — с нее не наешься. А прошлое лето дождей было мало, ни росы, ни сырости, чем там кормиться? Пускай мою долю родные съедят — у нас шесть душ, я седьмой, рты большие, а я у тебя буду, тебе ведь скучно, ты хромая, сидишь одна в избе, а теперь я с тобой — тебе лучше».

Хромая женщина соглашалась с подростком, что с ним ей жить лучше, и поговорить есть с кем, и посмотреть есть на кого.

— С тобой мое сердце отвлекается от думы и часы скорее идут, — говорила хозяйка. — Да ведь ты на шахты скоро уйдешь...

— Погощу у тебя еще, — обещал Аким.

Но через два или три дня жизни у хромой хозяйки Аким захотел уйти от нее куда-нибудь в более дальнюю сторону, а сначала навеститься домой — живы ли там отец с матерью и братья с сестрами, а то бывает, что люди умирают сразу, и сердце Акима заболело от этой мысли. Но ему надо терпеть жизнь на чужой стороне, чтобы дома больше оставалось харчей.

На четвертый день хромая старуха послала Акима прополоть картошку на огороде, который был при дворе за пустой ригой. Аким пошел в огород, и хозяйка вышла туда вслед за ним. Аким стал полоть ненужную траву, зря евшую землю, а хромая стояла в отдалении, опершись на свои костыли, и глядела на мальчика, чтоб не скучать одной в избе.

Хромая женщина, согнувшись вся, бессильно висела на своих костылях, и Аким заметил теперь, что у нее был небольшой горб, нажитый или природный. «На Конька-Горбунка похожа! — подумал Аким, вспомнив сказку, которую читала ему сестра Панька. — Я работаю, а она стоит, ничего не может. Зря живет. Или нет — ей тоже нужно жить, раз она родилась. Не нужно — она бы не рожалась. Кому не нужно жить, того нет».

С ночной стороны продувал холодный неровный ветер, лето менялось и задолго давало предчувствие об осени; опять придется сидеть в закрытых избах, играть и ссориться с

малолетними братьями и сестрами, ждать, когда будет обед, когда ужин, и стараться поймать из общей чашки какой-нибудь кусок, хоть картошку, побольше, и получить за это от отца пустою ложкой по лбу... «Нет, я ко двору не вернусь, пойду в дальние края, покуда тепло», — обсуждал свою судьбу Аким на чужом картофельном огороде.

— Иди, бабушка, домой! — сказал он хозяйке избы. — Ветер холодный, остудишься, потом помрешь.

— Ничто, милый, — ответила хромая женщина. — Я хоть обветрюсь и продышусь.

— Обветрится она! — хрипло серчал Аким. — Ты же немощная, больная вся такая, иди в избу, говорят тебе! — указывал Аким, вспоминая своего сердитого отца. — Ишь ты, хромолыдка какая, век тебя не видать!

Хромая со страхом и печалью смотрела на своего гостя, потом молча пошла в избу, волоча за собой убогие ноги.

— Горшок с кашей подальше в печку задвинь, а то остынет к обеду, — сказал Аким вслед хозяйке.

— Чего уж кричишь, я сама знаю, — ответила ему издали хромая женщина. — С салом будешь есть-то или с маслом постным?

— С салом, — пожелал Аким.

К обеду он управился прополоть огород, затем вышел за ворота, поглядел в свою родную сторону и пошел в избу обедать. Наутро хозяйка не встала с кровати, она занемогла.

— Остудилась! — говорил ей Аким. — Зачем ты на ветру стояла? Будешь теперь знать!

— Мне давно уже недужилось, — отвечала больная. — Сверху пот выходит, а внутри я сохну вся. И до тебя я лежала, а ты вот пришел когда в гости, мне будто полегчало, я отдышалась, есть на кого поглядеть стало, а теперь вот опять. Это я не от ветра, я давно таю сама по себе... Когда усну, чувствую, что плыву я по водам куда-то и вода меня испивает, проснусь, и весу во мне мало, я легкая, словно и нет меня...

— А где сыновья твои живут, давай я за ними схожу, сюда их кликну, — сказал Аким.

Женщина подумала и не велела Акиму ходить.

— Пока не надо... Да они уже привыкли, что я хвораю. Старшего нет — он на неделю в город уехал, а второй был недавно, он крупу принес и бутылку керосина, теперь его долго жена не пустит, может, и зайдет когда тайком от нее...

На ночь Аким постелил себе на полу возле самой кровати больной хозяйки, чтоб услышать, когда ей плохо будет, и сразу проснуться на помощь.

Стало тихо и темно во всей деревне. Через окно были видны две звезды, еле светившие от своей слабости, и по временам они припотухали вовсе, а потом опять светились, неясно, как во сне. В дальних полях изредка покрикивали поздние перепела — один голос спрашивал, а другой отвечал. И опять было молчание, и через приоткрытую дверь в сени прохладно пахло со двора свежей травой, напитавшейся росой.

— Спать пора! — сказал Аким и повернулся на правый бок.

— Спи, — ответила ему больная хозяйка с кровати. — Я костыль тут один поставлю, около твоей головы. Когда я буду холодеть, я им постучу об пол, ты проснешься и попрощаешься со мной. А сейчас спи.

— Ладно, — произнес Аким и уснул.

Он проснулся в страшной тьме, даже две слабые звезды ушли на небе за окном, там теперь ничего не было — пустая тьма, и перепела умолкли в дальней ржи. Акиму снова захотелось спать, но он боялся теперь закрыть глаза, чтобы кто-нибудь не подполз к нему невидимо во мраке или не показался снаружи в окне.

— Аким, — тихо сказала больная женщина. — Это я тебе костылем стучала. Встань ко мне, засвети огонь. Мне худо, я стыну вся.

Услышав голос хозяйки избы, Аким перестал бояться тьмы и ночи; он потянулся в теплоте сна, закрыл глаза и, серчая, что не может тотчас встать, решил лишь подремать чуть-чуть и сразу подняться: хромая старуха не успеет остыть, она привыкла хворать, сама говорила.

Стараясь вспомнить, что нужно проснуться, Аким уперся рукою в подстилку и, забыв сам себя, положил голову обратно на подушку.

Но сквозь сон Аким слышал стук, который все приближался, точно издали, еле слышно, кто-то шел к нему или просился в его сердце, а он не мог подняться навстречу ему и ответить.

Костыль стучал по полу около уха Акима, больная женщина шепотом звала мальчика, но Аким бормотал в детском сне и не мог пробудиться. Женщина застучала костылем сильнее. Аким открыл глаза и вспомнил больную. Костыль перестал стучать, он покойно стоял нижним концом около самой головы Акима. Теперь было тихо; Аким прислушался — хозяйка редко и тягостно дышала, но больше не звала его. «Уснула, — решил Аким, — пусть спит, к утру ей полегчает». Он осторожно взял костыль и спрятал его под кровать, чтобы хромой хозяйке нечем было стучать и чтоб она спала, и Аким опять уснул.

У женщины, лежавшей на кровати, замирало сердце от старой слабости; она старалась глубже дышать и уснуть поскорее, но руки у нее холодели и теряли силу, она боялась, что не поднимет ими костыля, не успеет разбудить Акима и умрет одна, ни с кем не попрощавшись. И она снова позвала Акима еле шепчущим ртом, а затем протянула руку, чтобы постучать костылем, но костыля не было. «Он упал на пол, — подумала больная, — подняться за ним я сейчас не могу, мне и пошевелиться мочи нету; я подожду умирать до утра, буду дышать и проживу, пока не проснется Аким, нечем его разбудить».

Она прожила до утра. Аким выспался и проснулся.

— Ты жива? — спросил он хозяйку.

— Жива еще, — ответила женщина с кровати. — Мне легче будто стало и в сон тянет, я всю ночь не спала... Укрой мне ноги потеплее, достань мою шушунку из сундука. Обед сам себе сготовь — крупа в кадушке в сенцах стоит, сала себе отрежь...

— Сготовлю, — согласился Аким. — Опять жить будешь, только отоспишься?

— Как отдохну, так опять проживу, — пообещала больная хозяйка.

— Живи, — сказал Аким. — А я пообедаю и дальше пойду — на шахты.

— Ступай, — тихо произнесла хромая женщина. — С шахты назад ворочаться будешь, заходи опять гостить ко мне.

Аким укрыв ноги хозяйки шушункой поверх одеяла, подбил ей подушку и ответил:

— Зайду... Я нескоро ворочусь, а к тебе все одно приду. Тогда я заработок домой понесу и тебе гостинцев куплю иль обновку какую.

— Шаль мне купи, хоть полушалок, чтоб я не стыла, — попросила старая женщина.

— Из шерсти, — сказал Аким, — я знаю. У моей матери была шаль, отец ее продал и пшена купил.

После обеда Аким взял себе кусок хлеба побольше и пошел на большак за деревню. Отец ему говорил когда-то, что по этой большой дороге все люди на шахту идут, и дядя ушел...

Вернулся Аким обратно нескоро — через пятьдесят пять лет. Из этих пятидесяти пяти лет отсутствия каждый день он хотел уйти домой, но ему нельзя было: то нужда и работа, то свои дети, то тюрьма, то война, то прочая забота, — так и прошла вся жизнь — небольшое мгновенное время, как убедился Аким. Весь свой век он готовился к чему-то наилучшему и томился, но не мог опомниться, пока не стал стариком. И теперь, в старости, он опять стал одиноким и свободным, каким был в детстве. Дети его выросли и живут сами по себе, а жена умерла.

И тогда старый Аким пошел домой. Где был большак, откуда он тронулся на шахты, теперь проходила железная дорога. Но Аким не поехал по железной дороге, а шел по обочине ее пешком.

В памятном месте он свернул с большака па деревню, где жила хромая женщина, некогда приютившая его, и сразу заблудился, не узнавая ничего. Он вошел в большой город, полный домов и богато живущих людей. Аким пошел по направлению к реке, по смутному воспоминанию, чтобы выйти на высокую поляну и оттуда добраться до своей деревни; там он оставил свое первое старое семейство — отца с матерью, братьев и сестер.

Реки не было. Он спросил у пожилого прохожего, где же река. Ему ответил прохожий, что реку давно впустили в трубу, а трубу зарыли в глубь земли...

Старик пошел далее по долгой улице, уставленной сплошь светло-желтыми, украшенными снаружи домами. Улица и после пересечения с рекой, схороненной в трубе, шла ровно, нигде не видно было той высокой поляны, посреди которой завивали венки в детстве Акима.

Старик миновал весь город и вышел на гладкий асфальтированный тракт. То место, где стояла его родная деревня, он не мог теперь обнаружить. Только печные углы из избы отца, может, лежат где-нибудь под фундаментом незнакомого дома. Аким воротился обратно в город, свернул в боковую улицу и вошел в попутный сад на площадь. Там он сел у фонтана и опомнился. У фонтана было прохладно, тихо, пахло дорогими посаженными цветами. Новые, сытые дети играли в горке песка за фонтаном; их сторожила молодая женщина с задумчивым лицом, одетая в белое платье с цветами; она ходила вокруг детей, занятых между собою, читала книжку, а иногда что-то говорила детям, наверно, делала им наставления.

Старый Аким подошел к задумчивой молодой женщине и спросил ее, полагая, что, может быть, он обознался, заблудился и пришел не на родину, а в чужое место:

— А вы не знаете, что тут раньше находилось, когда города не было?

— Знаю, — улыбнулась женщина ему в ответ. — Здесь были поля, леса, соломенные деревушки, а в них жили печальные, бедные люди.

— Верно, — согласился старик Аким и отошел от красивой молодой женщины.

Он вспомнил рожь и деревья, которые росли здесь в его детстве, сияющие летние дни, волнение зноя и трепетание теней древесных листьев на траве. В природе и в мире все это было и исчезло, но в нем, в человеке, ничто не забудется, пока он жив. Старик, варивший себе ужин у деревянного сельского моста, и женщина-хромольдка, которой Аким не успел принести в подарок шерстяной полушалок, давно отжили на свете, но они существуют в чувстве и памяти старого Акима как любимые и бессмертные.

— А ну, пойдй сюда! — сказал Аким задумчивой женщине в белом платье с цветами.

Девушка молча и вежливо подошла.

— Ты чья? — спросил ее старик. — Давно здесь живешь или пришлая?

— Я родилась здесь, — ответила девушка. — Я дошкольница, в детском саду работаю, я Надя Иванушкина. А вы?

— Я рабочего класса, а родился тут, только давно уже, в старинное время, когда тебя не было.

— Меня не было, — согласилась Надя Иванушкина. — Я недавно живу: девятнадцать лет.

— А я уж в твои годы стариком почти был: на шахтах давно работал, женился и сын у меня рос, а мальчишкой в тюрьме отсидел — не в последний раз.

— А ваш сын здесь живет? — спросила Надя.

— Нет, не живет, — сказал Аким. — Я пришел один... Ступай занимайся с детьми.

Надя еще постояла возле Акима в стеснении и неловкости, а затем отошла к малолетним детям.

Старому Акиму она не понравилась, поэтому он и подозвал ее к себе, но не стал обижать.

Прежние люди, умершие и старые, должны были жить печальными и бедными в нищих жилищах, чтобы эта Надя Иванушкина могла легко работать, быть красивой и задумчивой, одеваться в белое платье с цветами, жить в каменном доме и есть сытную пищу на обед и на ужин. Прежние люди не жалели себя — даром родились, даром померли. А эти — ишь какую жизнь себе выдумали!

Старый Аким раздумался, загоревал, сморился и уснул; он сидел на скамье, склонив голову на руки, окруженный благоухающими цветами, обдуваемый прохладой фонтана, в тишине распутившегося всеми листьями сада.

В сумерках он проснулся. Детей у фонтана не было, их, наверное, развели по домам. Но Надя Иванушкина сидела теперь одна в отдалении от Акима. Старик поглядел на нее и опять закрыл глаза.

Надя по своей воле подошла к дремлющему старику.

— Дедушка, — сказала она, — вы к кому приехали?

Аким открыл глаза на нее.

— К тебе в гости, — осерчал он.

— Ну пойдете, — согласилась Надя Иванушкина.

Старик поднялся. «Все одно, — подумал он, — пойду погляжу».

Надя жила недалеко — в чистой, убранной комнате. Она приветила старика и налила для него в тарелку супа с мясом.

— Ешьте, — пригласила она. — Я уже обедала.

— Замужняя? — спросил Аким.

— Нет еще. Одна живу, — сказала Надя. — Сейчас я вам второе подогрею.

— Грей, — сказал Аким. — А где я спать буду, у тебя одна кровать?

— На ней вы и будете спать, — решила молодая хозяйка. — А я на полу себе постелю. Я привычная, я на постройках работала, в общежитиях и в бараках жила, всего повидала.

Старик всмотрелся в эту девицу.

— Ишь ты! — произнес он.

Отобедавши, Аким сразу лег в мягкую постель на ночлег. Усталый и старый, он долго, однако, не мог уснуть — привык маяться. Надя уже давно спала на узком ковре на полу, сжавшись по-детски под простыней.

Среди ночи старик захотел вдруг пить.

— Хозяйка, дай пить! — шумно сказал Аким.

Надя сейчас же поднялась, чуткая, как неспавшая, сходила в одной рубашке на кухню и принесла оттуда стакан воды, а потом опять легла.

Напившись, старик уснул и во сне стал плакать, точно в нем освободилась опечаленная, измученная за долгую жизнь душа. Он не видел сновидений и не чувствовал страданий, но ему становилось все легче и легче, сон поглощал его глубже, он отдыхал; Аким не знал, что он плачет.

На рассвете старик проснулся. У его изголовья сидела Надя и утирала ему слезы своей ладонью.

— Успокойтесь, — говорила она, — вы давно плачете?

— Не чувствую, — сказал Аким.

— Ну, теперь проснитесь и успокойтесь, — попросила его молодая хозяйка и поцеловала Акима в лоб. — Я понимаю.

Старик привлек к себе Надю, сжав ее голову руками.

— Прежние люди забыты, они умерли, а избы их сопрели, — произнес Аким. — Но ты не хуже их, ты должна быть лучше.

— Мы лучше, — доверчиво сказала Надя.

— Я помню их, ты запомни меня, а тебя запомнят, кто после тебя народится, те будут неизвестные — еще лучше тебя, — говорил старый Аким. — Так и будет жить один в другом, как один свет.

Надя слушала старика. Аким умолк. Ему теперь было уже привычно жить здесь — в чужом городе на месте родной деревни. Перед ним был все тот же знакомый с малолетства вечный человек, только моложе хромой старухи и счастливее ее.

— Я завтра буду готовить, — сказала хозяйка. — Мне на работу сегодня идти.

— Готовь, чего же нам ждать, — ответил Аким.

— Дедушка, а отчего вы плакали ночью? — спросила Надя.

Старик ничего не сказал. Он не помнил, что плакал. Надя задумалась.

— Вы жили, должно быть, плохо. Ушли далеко и всех забыли, пришли к нам — и нас не узнали. А забытые без вас все умерли, а ночью они пришли к вам в сердце. Но теперь их никого нет, не плачьте, теперь одни мы живем...

Старый Аким смолчал. Он понял, что жизнь в людях стала выше, и оробел перед этой девушкой Надеждой.

РАЗНОЦВЕТНАЯ БАБОЧКА

(Легенда)

1

На берегу Черного моря, там, где Кавказские горы поднимаются от берега к небу, жила в каменной хижине одна старушка, по имени Анисья. Хижина стояла среди цветочного поля, на котором росли розы. В старину здесь тоже было цветочное поле, и тогда Анисья работала в цветоводстве, а теперь она уже давно не работает, а живет на пенсии и ест хлеб, который ей привозят из колхоза, как старому почтенному человеку. Невдалеке от цветочного поля находился пчельник, и там также издавна жил пчеловод дедушка Ульян. Однако дедушка Ульян говорил, что когда он еще молод был и приехал на кавказскую сторону, то Анисья уже была старой бабушкой и никто тогда не знал, сколько Анисье лет и с каких пор живет она на свете. Сама Анисья тоже не могла этого сказать, потому что забыла. Помнила она только, что в ее время горы были молодые и не покрыты лесом. Так она сказала когда-то одному путешественнику, а тот напечатал ее слова в своей книге. Но и путешественник тот давно умер, а книгу его все забыли.

Дедушка Ульян приходил раз в год в гости к Анисье; он приносил ей мед, чинил ей обувь, осматривал, не худым ли стало ведро, и перекидывал черепицу на крыше хижины, чтобы внутрь жилища не проникал дождь.

Потом они садились на камень у входа в жилище и беседовали по душам. Старый Ульян знал, что едва ли он придет в гости к Анисье на следующий год: он уже был очень стар и знал, что ему наступала пора помирать.

В последний раз, как виделся Ульян с Анисьей, он рассмотрел, что железная дужка очков, которые носила Анисья, стала тонкой, слабее нитки, и вот-вот сломится, — дужка истерлась от времени о переносицу Анисьи. Тогда Ульян укрепил дужку проволокой, чтоб очки еще служили и через них можно было смотреть на все, что есть на свете.

— А что, бабушка Анисья, нам с тобой срок жизни весь вышел, — сказал Ульян.

— Ан нету, у меня срок не вышел, — отозвалась Анисья, — у меня тут дело есть, я сына ожидаю. Покуда он не вернется, я жить должна.

— Ну живи, — согласился Ульян. — А мне пора.

— Раз пора, так чего даром-то живешь! — произнесла Анисья. — Я тут по делу, а ты чего?

— А может, и ты напрасно сына ожидаешь, — сказал Ульян. — Ведь когда он у тебя был-то и куда ушел! Никто и не помнит его. Должно, и кости его в пропасти сотлели, и ветер давно унес его прах. Где теперь ты сыщешь своего сына?

Ветхая Анисья здесь осерчала и велела Ульяну уйти от нее.

— Мой сын далеко, а сердце мое чувствует его и умереть не может, пока он жив. Он сам вернется ко мне, и я дождусь его. А ты иди домой, ты по-пустому живешь.

Ульян ушел и вскоре умер от старости лет, а Анисья осталась жить и ожидать своего сына.

Сын ее Тимоша убежал из дому, когда был еще маленьким, а Анисья была молодой, и с тех пор Тимоша не вернулся к матери. Он каждое утро убегал из дому в горы, чтобы играть там, разговаривать с камнями гор, отзывающихся на его голос, и ловить разноцветных бабочек.

К полудню Анисья выходила на тропинку, идущую в горы, и звала своего сына:

— Тимоша, Тимоша!.. Ты опять заигрался и забегался, и ты забыл про меня.

И сын отзывался ей издали:

— Сейчас, мама, я только бабочку одну поймаю.

Он ловил бабочек и возвращался к матери. Дома он показывал бабочку и горевал, что она больше не летает, а только ходит тихо, понемногу.

— Мама, чего она не летит? — спрашивал Тимоша, перебирая крылышки у бабочки. — Пусть она лучше летает. Она умрет теперь?

— Не умрет и жить не будет, — говорила мать. — Ей надо летать, чтобы жить, а ты ее поймал и взял в руки, крылышки ей обтер, и она стала больная... Ты не лови их!

— А мне надо, — сказал сын Тимоша. — Я хотел поглядеть, отчего она такая.

— Какая она тебе! — говорила мать. — Бабочка и бабочка, их много.

— А эта такая, лучше всех.

— А есть небось и еще лучше, еще нарядней, чем эта.

— А я их, как увижу, догоню и поймаю, — пообещал сын Тимоша.

Каждый день Тимоша бегал в гору по старой тропинке. Мать Анисья знала, что та тропинка через малую гору идет на большую, а с большой на высокую, где всегда на вечер собираются облака, а с той высокой горы — на самую лютую, самую страшную вершину всех гор, и там тропинка выходит к небу. Анисья слыхала, когда приехала жить с мужем на Кавказ, что тропинку проложил неизвестный человек, который ушел по ней на небо через самую высокую гору, — ушел и более не вернулся; он был бездетный, никого не любил на свете, земля ему была не мила, и все его забыли; осталась от него лишь тропинка, след его бегущих ног, и по тропинке той мало кто ходил после него. Только Тимоша бегал по этой тропинке за бабочками.

Внизу около моря, на теплой земле, бабочек было много. Но они все были похожие, белые и желтые, одного бедного цвета, и Тимоша привык к ним и не ловил их. А в горах летали разноцветные большие бабочки; там было прохладней, бабочки летали редко, зато они были разные, неизвестные, и напоминали мальчику цветы, которые ветер сорвал с земли и уносит с собой в свой далекий дом. И Тимоша гнался по тропинке за бабочкой, гонимой ветром к небу, пока не ухватывал ее рукою. Затем он рассматривал бабочку — какая она есть — и видел, что она увядает в его руках и в разноцветных крыльях ее темнеет свет. Он клал ее на землю, чтобы она ожила и улетела. Но бабочка ползла по земле, шевелила крыльями, а лететь более не могла. Тимоша ложился животом на землю и близко рассматривал бабочку. Он не понимал, почему бабочка теперь не летает, ведь он только поймал ее и потрогал, потому что ему надо было увидеть, почему бабочка такая.

— Лети, я больше тебя трогать не буду, — говорил Тимоша бабочке.

Бабочка не улетала и молчала.

— Давай поговорим! — сказал Тимоша, разглядев у бабочки лицо.

Бабочка вползла на маленький камешек, а ветер дунул, камешек шевельнулся и свалился в пропасть вместе с бабочкой. Тогда Тимоша поймал другую бабочку; он подержал ее и отпустил, но бабочка тоже не могла летать и поползла, как червяк. К бабочке подлетел воробей и склевал ее. Тимоша увидел, что делает воробей, и рассерчал на него; он схватил камень, погнался за воробьем и бросил в него камень. Камень попал в голову воробья, воробей упал на тропинку и перестал дышать, а во рту его осталась раздавленная клювом, непроглоченная бабочка, тоже мертвая теперь.

Тимоша поднял воробья и положил его к себе за пазуху рубашки.

— Я нечаянно, — сказал он. — Зачем вы все от меня умираете?

Он пошел домой; наставало вечернее время, и цветы уже дремали в сумерках на склоне горы. Возле тропинки росла одинокая былинка, ее головка выглядывала из-под обрыва на того, кто шел по земле, и на лице ее блестел маленький чистый свет. Тимоша увидел, что это села капля росы на былинку, чтобы она испила ее, потому что сама былинка ходить пить не умеет.

«Это добрая капля!» — подумал Тимоша.

Здесь разноцветная большая бабочка села на эту былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался: он никогда еще не видел такой бабочки. Она была велика, словно птичка, и крылья ее были в цветах, каких Тимоша не видел нигде на земле и не видел на небе, когда горит утренняя и вечерняя заря. С крыльев бабочки светились разноцветные огни, а от дрожания ее крыльев мальчику казалось, что свет отходит от нее отдельно и звучит, как зовущий его тихий голос. Тимошу влекла к себе эта трепещущая бабочка, и он захотел схватить ее, чтобы она была с ним и чтобы лучше рассмотреть ее крылья, на которых нарисовано было, чего нет на свете. Эта бабочка совсем не похожа была на ту бедную бабочку, которую вместе с камешком сдунул ветер, и на ту, которую склевал воробей.

Тимоша протянул руку за сияющей, дрожащей бабочкой, но она перелетела на большой камень и села на него. Тогда Тимоша сказал ей издали:

— Давай поговорим!

Бабочка не говорила и не смотрела на Тимошу; она только боялась его. Должно быть, она была недобрая, но она была так хороша, что ей не надо было ни с кем говорить и не надо быть доброй.

Бабочка поднялась с камня и полетела над тропинкой в гору. Тимоша побежал за ней, чтобы еще раз поглядеть на нее, потому что он не нагляделся.

Он бежал за бабочкой по тропинке в горах, а ночь уже потемнела над ним. Он не сводил глаз с бабочки, летящей перед ним, и лишь по памяти не сбивался с тропинки и не упал в пропасть. Мертвый воробей колотился у Тимоши за пазухой; он его вынул и бросил, не жалея его.

Бабочка летела вольно, как хотела; она летела вперед, назад, в одну сторону и сразу в другую, как будто ее сдувал невидимый ветер, а Тимоша, задыхаясь, бежал за нею следом; ему надо было помнить тропинку, ему нельзя было оступиться, и он боялся, что бабочка улетит от него в пропасть или высоко на небо, а он останется один без нее.

И вдруг он услышал голос матери, который произнес в его сердце:

— Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл про меня!

— Сейчас, мама, — вслух ответил Тимоша. — Я одну только бабочку поймаю, самую хорошую, последнюю.

— Ты заблудишься, — услышал он материнский голос. — Скоро ночь — и бабочка улетит от тебя во тьму.

— А я тогда звезду поймаю с неба! — скоро сказал Тимоша. — Они близко летают ночью!

Бабочка пролетела мимо самого лица Тимоши; он почувствовал теплое дуновение ее крыльев, а потом бабочки не стало нигде. Он искал ее глазами в воздухе и около земли, он побежал назад и вернулся обратно, но бабочки не отыскал.

Наступила ночь. Тимоша бежал по тропинке в гору, куда улетела бабочка. Ему казалось, что бабочка светится крыльями невдалеке от него, и он протягивал руки за нею. Он миновал уже малые и большие горы и подымался на самую страшную, голую вершину всех гор, где тропинка выходит к небу.

Тимоша добежал до конца тропинки и оттуда сразу увидел все небо, а близко от него сияла большая, добрая жмуриящаяся звезда. Тимоша увидел здесь, что бабочки нету нигде.

«А я звезду схвачу! — подумал Тимоша. — Звезда еще лучше, а бабочки мне теперь не надо».

Он забыл о земле, потянулся руками к небу со звездами и ступил ногами в пропасть. Сначала он падал без дыхания, потом он коснулся шелестящих листьев кустарника, росшего по скату горы, ветви удержали Тимошу, и он не разбился о камни внизу.

Наутро Тимоша огляделся, где он есть. Кустарник рос по отвесу горы и выходил к берегу маленького ручья. Ручей тот начинался родником у подножия горы, потом протекал недолго внизу по земле и впадал в небольшое озеро, а из озера вода подымалась туманным душным паром, потому что и утром было жарко в этом месте. Кругом стояли голые стены гор, уходящих до высокого неба, по которым никому нельзя взойти, а можно только взлететь по воздуху, как бабочка.

Горы огораживали дно пропасти, где очутился маленький Тимоша. Он весь день ходил по дну этой пропасти, и везде вокруг была одна каменная стена гор, по которым нельзя подняться и уйти отсюда. Здесь было жарко и томительно; Тимоша вспомнил теперь, что дома у матери было прохладней.

По берегу ручья в траве и кустарнике жужжали и жили стрекозы, и всюду летали такие же светящиеся, разноцветные бабочки, какую видел вчера Тимоша и которую он хотел поймать и разглядеть. Здесь эти бабочки трепетали над жаркой землей, и слышен был шум их крыльев, но Тимоша не хотел их ловить, и скучно ему было смотреть на них.

— Мама! — позвал он в каменной тишине и заплакал от разлуки с матерью.

Он сел под каменной стеною горы и стал царапать ее ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери.

3

С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, прошло много лет. Тимоша вырос большим, он научился, как надо долбить и крошить каменную гору. Для этого он нашел куски самого крепкого камня, упавшего когда-то с вершины горы, и наточил их о другие такие же крепкие камни, чтобы они были острыми. Этими камнями он бил гору и крошил ее, но гора была велика и камень ее тоже крепок.

И Тимоша работал целые годы, а выдолбил в кремнистой горе лишь неглубокую пещеру, и ему было еще далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь, Тимоша видел дно пропасти, куда он упал в детстве, и видел тех же разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе.

Ни разу с самого детства Тимоша не поймал более ни одной той бабочки, и когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал ее и бросал прочь.

Все реже и реже он слышал голос матери, звучащий в его сердце:

— Тимоша, ты забыл меня! Зачем ты ушел и не вернулся?..

Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери, слышный только ему одному, и еще усерднее долбил и крошил каменную гору.

Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живет, он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни; он думал, что он еще маленький, как прежде, что он живет с матерью на берегу моря, и он улыбался, снова счастливый, и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал мать.

А мать не слышала, что сын зовет ее, что он точит гору и каждый год немного приближается к ней. Она смотрела в звездное небо, и ей казалось, что маленький сын ее бежит среди звезд. Одна звезда летит впереди него, он протянул к ней руку и хочет поймать ее, а звезда улетает от него все дальше, в самую глубину черного неба.

Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, он бы уже давно обежал всю землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много.

Значит, Тимоша ушел дальше земли, он ушел туда, где летят звезды, и он вернется, когда обойдет весь круг неба. Она выходила ночью, садилась на камень около хижины и глядела в небо.

Мать тихо говорила:

— Вернись, Тимоша, домой, уже пора... Зачем тебе бабочки, зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звезды, и ты будешь со мною! А то тыловишь бабочек, а они умирают от тебя, ты поймаешь звезду, а она потемнеет. Не надо, пусть все будет, тогда и ты будешь!..

А сын ее в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери.

Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша, ушедший из дому в детстве, стал стариком.

4

Он работал по-прежнему, чтобы пробиться сквозь гору; однако от старости и долгого времени разлуки Тимоша все реже и реже слышал зовущий его голос матери и сам стал уже забывать, кто он такой и куда идет через камень. Но он привык работать и каждый день понемногу шел домой, может быть всего на шаг муравья.

И вот однажды он услышал изнутри каменной горы, как загремело ведро, опускаемое за водою в горное озеро. Тимоша по звуку узнал, что это было их ведро, ведро его матери, и закричал, чтоб его услышали. И правда, это была мать Тимоши, пришедшая за водою; она брала теперь всего четверть ведра, потому что больше не могла унести.

Мать услышала, что кто-то кричит из горы, но не узнала голоса своего сына.

— Ты кто там? — спросила она.

Тимоша узнал голос матери и ответил:

— Мама, я забыл, кто я.

Мать опустилась на каменную землю и прильнула к ней лицом.

Сын обрушил последние камни в горе и вышел на свет к матери. Но он не увидел ее, потому что ослеп внутри каменной горы. Старая Анисья поднялась к сыну и увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала:

— Родила я тебя, а ты ушел. Не вырастила я тебя, не попитала и поласкать не успела...

Тимоша припал к маленькой, слабой матери и услышал, как бьется ее сердце, любящее его.

— Мама, я теперь всегда с тобой буду!

— Да ведь старая я стала, полтора века прожила, чтоб тебя дожидаться, и ты уж старый. Умру я скоро и не налюбуюсь тобой.

— А я опять маленький стану! — сказал Тимоша.

Мать прижала его к своей груди; она хотела, чтобы все дыхание ее жизни перешло к сыну и чтобы любовь ее стала его силой и жизнью.

И она почувствовала, что Тимоша ее стал легким. Она увидела, что держит его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь матери с ее любовью перешла к сыну, и он вновь стал ребенком.

Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла.

А маленький Тимоша остался жить один на земле. Разноцветная бабочка пролетела над его головой, и он посмотрел на нее.

СУХОЙ ХЛЕБ

1

Жил в деревне Рогачевке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова еще дедушка, да он умер от старости еще до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушел дедушка?» — думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел ее. Он думал, что и бревна в их избе и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

— А где дедушка? — спрашивал Митя у матери. — Он спит в земле?

— Он спит, — говорила мать

— Он уморился? — спрашивал Митя.

— Уморился, — отвечала мать. — Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плел; всю жизнь ему спать было некогда.

— Мама, разбуди его! — просил Митя.

— Нельзя. Он осерчает.

— А папа тоже спит?

— И папа спит.

— У них ночь?

— У них ночь, сынок.

— Мама, а ты никогда не уморишься? — спрашивал Митя и с боязнью смотрел в материнское лицо.

— Нет, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь. Я здоровая, я не старая... Я тебя еще долго буду растить, а то ты у меня маленький.

И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснет, как уснули дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная, под ее руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки черного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца и нес его по земле. В полдень все небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал ее в мертвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтобы они не затамились и пахали. Митя видел, как тяжело было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошел домой. Мать ночью испекла хлебы и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости; хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запихивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не

надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел еще капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печеную картошку из горшка, макая ее в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она, спит ее сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его — не искусал ли его кто, глядит — живот у него, как барабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне.

А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя ходил по деревне, потом пошел на пашню к матери и все время поглядывал на встречаемых и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень, не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

— Мама, — сказал Митя, — давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

— Обожди! Придет и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный еще, тебе расти и кормиться еще надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

— Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от нее, от матери, все стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

— Мама! — воскликнул Митя. — А что мне надо делать? А то я тебя люблю.

— А чего тебе делать! — сказала мать. — Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.

— А обо мне ты тоже думаешь?

— О тебе я тоже думаю — один ты у меня, — ответила мать. — Ой, лешие! Чего стали? — сказала она волам. — А ну, вперед! Не евши, что ль, жить будем?

2

В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уже давно рос зеленый мох. А сам сарай ушел с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В темном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот темный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: «Его дедушка в руках держал и я держу». Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашел там еще колесо от домашней прялки... Там же валялся кочедык: он был нужен дедушке, когда он плел лапти себе и своим детям. Там еще много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда еще Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашел в сарае твердую дубовую палку: на одном конце ее был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или еще что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнес ее в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал и он будет.

К самому пряслу Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел, как рожь морилась жарою и умирала: малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли замертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал подымать иссохшие хлебные былинки, чтоб они жили опять, но они жить не могли и клонились как сонные на спекшуюся, горячую землю.

— Мама, — говорил он, — рожь от жары умаривается?

— Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.

— А роса есть! — сказал Митя. — Она по утрам бывает.

— А чего роса! — ответила мать. — Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.

— Мама, а как же быть-то без хлеба?

— Незнамо как и быть... Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живем.

— А лучше пусть в колхозе хлеб растет, пусть роса в землю проходит.

— Так бы оно лучше было, да хлеб без дождя не рождается.

— Он не вырастет большой, он спит маленький! — произнес Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошел один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил ее рукою — дедушка тоже, должно быть, гладил ее, — положил тяпку на плечо и пошел па колхозное озимое поле, что было за пряслом.

Там он стал рыхлить тяпкой спекшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинки. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А еще ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснется и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелек тот сломался и поник.

— Нельзя! — вскричал Митя самому себе. — Ты что делаешь!

Он оправил стебелек, уставил его в земле и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были усохшие, слабые, мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинки.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у нее осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда была веселая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.

— Митя! Ты что тут копаешься? — спросила учительница.

— Хлеб пусть растет! — сказал Митя. — Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

— Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

— Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

— Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

— Не скучно, — сказал Митя.

— А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдем, и ты пойдешь... Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:

— Я маму все время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:

— Ах ты, милый мой! Какое сердце у тебя — маленькое, а большое!.. Знаешь что? Ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна; с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.

Солнце поднялось, роса уже сошла и ветер с огнем дул по земле. Однако те ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

— Они просыпаются! — обрадованно сказал Митя учительнице. — Они проснутся!

— Конечно, проснутся, — согласилась учительница. — Мы их разбудим!

Она увела учеников с собой, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю, — думал Митя. — У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала».

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, — она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить и расти.

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Долго шла девятилетняя Наташа со своим меньшим братом Антошкой из колхоза «Общая жизнь» в деревню Панютино, а дорога была длиною всего четыре километра, но велик мир в детстве... Наташа попеременно то несла брата на руках, когда он жалостно поглядывал на нее от усталости, то ставила обратно на землю, чтобы он шел своими ножками, потому что брат был кормленный, тяжелый, ему уже сравнялось четыре года, и она умаривалась от него.

По обочинам жаркой, июльской дороги росла высокая рожь, уже склонившая голову назад к земле, точно колосья почувствовали утомление от долгого лета и от солнца и стали теперь стариками. Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь, не покажется ли кто-нибудь из ее чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится, и думала, куда ей тогда спрятать брата, чтобы хоть он один остался живым. Если ему надеть свой платок на голову, чтобы Антошка был похож на девочку, — девочек меньше трогают, — тогда бы лучше было; или спрятать его в песчаной пещере в овраге, но оврага тут нигде не встречалось, он был около их колхозной деревни. И старшая сестра повязала брату платок на голову, а сама пошла простоволосая, так ей было спокойнее на душе.

Рожь медленно шумела около тихо бредущих по дороге детей. Безоблачное небо, туманное и бледное от пустой полуденной жары, казалось Наташе печальным и страшным; она вспомнила ночь со звездами над избою и двором, где она жила в колхозе вместе с отцом и матерью, и решила, что ночью интересней и лучше; ночью поют в колхозе одни добрые, кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае, — и там нет ничего страшного, там мать выходит на крыльцо и зовет ее на разные голоса, как будто причитает: «Наташа, иди ужинать, спать пора, чего ты звезды считаешь, завтра опять день настанет: успеешь еще пожить!»

Наташа крепче взяла Антошку за руку и побежала с ним мимо ржи, чтобы скорее увидеть избы деревни Панютино, где, жили бабушка и дедушка. Но брат скоро умирался, он упал в пыль и заплакал, а Наташа не догадалась сразу оставить его руку и нечаянно проволокла Антошку немного по земле. Взяв брата снова на руки, утешив его от слез, Наташа взошла с ним на возвышенность кургана. Здесь рожь росла низкая, потому что земля была худая, и отсюда было далеко видно, как идут по верху ржаных полей темные волны ветра и как светится льющющийся воздух над озаренными полосами хлеба, которых сейчас не покрывала тень ветра. Наташа огляделась вокруг — когда же будет Панютино? — и увидела крылья мельницы, поднимающиеся из-за дальних хлебов и вновь уходящие в них. Девочке теперь стало не так страшно находиться под безлюдным солнцем, в грустном шуме ржи и в тишине ровного полуденного ветра, доброту которого она ясно чувствовала своим лицом и всем телом. Наташа вздохнула с утешением — вон уже видна мельница, где мелют зерно, это, наверно, дедушка привез мешок: он знает, что придут внучка с внуком и надо испечь блины из новой муки; старая мука ведь уже вся вышла у них, и из нее плохо всходит тесто, а блины получаются не такие праховые и ноздреватые, как из свежего помола.

Наташа понюхала воздух: пахло соломой, молоком, горячей землей, отцом и матерью. Это было ей знакомо и мило, и девочка понесла брата дальше; он теперь обнял сестру вокруг шеи и дремал, свесив голову за плечо Наташи.

И они пошли вдаль по дороге, пролегающей во ржи. Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел к детям худой, бедный старичок с голым, ничем не заросшим, незнакомым лицом; ростом он был не больше Наташи, обут в лапти, а одет в старинные, холщовые портки, заплатанные латками из военного сукна, и он нес за спиной плетеную кошелку с жестким щавелем, что годится для щей, — эту траву он нарвал по пути ради занятия. Старик также остановился против детей. Он грустно поглядел на Наташу бледными, добрыми глазами, уже давно приглядевшимся ко всему на свете, снял шапку, сваленную из домашней шерсти, поклонился и прошел мимо. «Нестрашный! — подумала Наташа про старика. — А пусть бы только тронул, я бы сама ему дала из всех сил, он сразу бы умер... Некормленный, маломочный какой-то, наверно, нездешний!»

А старичок тот осторожно посмотрел на миновавших его детей. Ему запомнилось лицо Наташи — ее серые, чуткие, задумчивые глаза, внимательно открытый, дышащий детский рот, полные щеки и светлые волосы, обгоревшие на солнце и иссушенные полевым ветром. «Хорошая будет крестьянка!» — решил старик. Теперь он старался разглядеть ребенка, которого несла девочка. «И этот на нее похож, — увидел прохожий. — Сомлел и спит. А что ж ему!» — И старик пошел прочь, уставившись глазами в земляной сор и мелкую траву на дороге. Когда он видел лица детей, ему хотелось или тотчас умереть, чтобы не тосковать по молодой, счастливой жизни, или уже остаться жить па свете постоянно, вечно. Но жить постоянно — разве это управисься, разве это ему посильно, да и охоты уже нету такой, как прежде, и земля как будто наскучила; но иногда ему казалось, что настоящая охота жить только и приходит в старости, а в молодых годах этого понятия нет, тогда человек живет без памяти.

Больше всего старику было жалко детей, и он чувствовал, как от них входит в его сердце томительное, болящее счастье, все еще и до сей поры малознакомое и непрожитое, будто оно было забыто за недосугом, но само по себе давно ожидало его.

Прохожий старик сел в тень, поближе к растущему хлебу, чтобы одуматься. А одумавшись, он хотел заплакать, но передумал. «Еще чего! — прошептал он вслух. — Живи, старый человек, старайся! О-го-го, я еще кум королю! Чего мне, — тело мое цело, оно при мне, харчей полна изба, я не пьющий, не болящий!..» И старый человек с удовлетворением прилег около ржи, положив свою голову на кошелку с травой. Ходить ему сейчас было жарко и незачем: бумагу в колхоз «Общая жизнь» он отнес аккуратно и теперь умирался, и время у него еще есть впереди: летний день велик, ко двору успеет воротиться. Уже задремав, старик все еще чувствовал сладость в сердце, вспоминая встреченных детей, прошедших молча и робко мимо него, но точно призвавших его к бессмертной, далекой жизни вместе с собою.

Душный ветер умолк над рожью — стало тихо, как перед грозой или перед великой сушью; и старик тоже умолк, он уже спал, снедаемый мухами и муравьями, ползавшими по его ко всему притерпевшемуся лицу.

Дед и бабушка Наташи жили в деревянной избушке на краю деревни Панютино. От их дворового плетня начиналось общее ржаное поле, и туда, в это поле, уходила дорога, ведущая сначала в колхоз, где жила дочь стариков, мать Наташи, а затем дальше — в другие большие поля, заросшие хлебом и лиственными лесами, орошаемые светлыми реками, утекающими в теплое море... Бабушка Наташи, Ульяна Петровна, с самого утра время от времени выглядывала за ворота, не идет ли ее внучка с внуком. Она еще третьего дня наказала бабе-почтальонше, чтоб непременно зашла к ее дочери в колхозе, чтобы дочь отпустила внучку с внуком погостить в Панютино. «Должно, почтарка забыла к дочке зайти, — думала Ульяна Петровна, вглядываясь в пустую жаркую дорогу во ржи. — А ведь ей полтора трудодня за день пишут: ишь ты, льготная какая! Ходит, пыль подолом сгребает — только и делов... Либо в Совет пожаловаться на нее, что ль!.. Да чума с ней, пускай ходит-мечется, бестолковая!» — и бабушка закрыла калитку.

Еще с утра, спозаранку, она наложила солому в печь, а белое тесто стояло со вчерашнего вечера, и бабушке уже два раза приходилось откладывать его из горшка в глиняную чашку — за ночь тесто возшло своим избытком через край. Все было готово, чтобы начать печь блины, но гости еще не пришли и свой старик как ушел с самого утра на озеро рыбу ловить, так и пропал. Наверно, опять сидит в кузнице у кузнеца и разговаривает не о деле. Им чего же: один врет, другой поддакивает; ведь ее старик всему верит, ему лишь бы самому было жить интересно и удивительно, а как другие на самом деле живут, он не знает. Он только и ждет, только и надеется, что в мире случится что-нибудь: либо солнце потухнет вдруг, либо чужая звезда близко подлетит к Земле посветит ее золотым светом на вечное заглядение всем, или на бросовом, неудобном поле вырастет сама по себе сладкая, питательная трава, которая пойдет на пользу людям, и ее не нужно будет сеять, а только жать.

Ульяна Петровна посмотрела тесто и тяжело вздохнула. «Как я жизнь прожила — с таким, мужиком!.. Ему никогда, никогда ничего не надо было, а всего-навсего сидеть где попало да беседовать с людьми о самой лучшей жизни, что будет и чего не будет, а дома смотреть на свое добро и думать: когда ж это настанет время, чтобы ему нескучно было!.. А так он добрый, непривязчивый и меня терпит».

Бабушка старательно помешала чистое тесто; уже пора была из него печь блины, а то оно перестоится и закиснет. Нужно, чтобы хлеб остался целым и вкусным, — чем же другим ей было приветить внучку, внука и своего старика? Что есть еще на свете более необходимое, чем это ее бедное угощение? Она не знала... Бабушка не старалась выдумать что-либо другое хорошее и более лучшее, она лишь могла поставить тесто, испечь хлеба или блины, чтобы накормить родню, и сесть, на лавку, когда все наедятся, пригорюнившись в утешении. Она не понимала, как еще жить по-хорошему, ей ничего и не надо было более. Пусть все поскорее соберутся вместе в одну избу, пусть будут здоровы ее дочь со своим мужем и растут счастливыми внуки, — чего еще мучиться, и так хорошо.

Ульяна Петровна запалила солому в печке, но тут услышала, что на дворе закричал чужой петух, постоянно приходивший от соседей, чтобы бить петуха бабушки и пользоваться ее курами. Ульяна Петровна была ревнива к своему добру — она схватила веник и пошла отогнать хищника. Прогнав петуха, бабушка оглядела улицу и дорогу, ведущую в ржаное поле, — может, кто-нибудь покажется. Но не было никого, лишь волнами плыла жара по земле, да старые привычные избы стояли по деревне, и копались пыльные соседские куры в дорожной колее, и бабушке стало вдруг скучно и жутко, точно она посмотрела не на белый свет, а в кромешную тьму. Тогда Ульяна Петровна затворила калитку и пошла печь блины. Первый блин сразу получился хорошим — и недаром: уж сколько их испекла бабушка на своем веку, — они сами у нее румянились и обратно из огня просились, только есть их сейчас было некому. Сама Ульяна Петровна свою стряпню всегда ела последней; она брала себе остатки и поскребышки и пекла из них, что выходило, чтоб не пропадало добро, — вся пища была для нее одинаково хороша.

В окно кто-то слабо постучал с улицы. «Либо побирушка! — подумала бабушка. — Да они теперь уж и ходить перестали, а то бы я дала блин человеку, нынче урожаи большие пошли, говорить нечего». Она вынула сковороду из огня, чтобы блин не подгорел, и пошла к окошку. В окно смотрела внучка Наташа; за спиной у нее, обхватив ручками шею сестры, находился Антошка; он спал сейчас, положив большую голову в сестрином платке на плечо Наташи, так что девочка вся согнулась от тяжести брата; одной своей рукой она удерживала обнимавшие ее руки Антошки, чтоб они не разлучились, а другой ухватилась за его штанину, чтоб ноги мальчика не висели в воздухе и он не сползал вниз. Наташа прислонила брата ногами к завалинке, освободила свою руку и еще раз тихо постучала в окно.

— Бабушка, — сказала она, — отворяйте, мы к тебе в гости пришли.

Ульяна Петровна заметила, что Наташа, чем более подрастает, тем делается лучше и задумчивей с лица и все более походит на нее, когда бабушка была девушкой. Тронутая такой добротой жизни, которая снова повторила ее во внучке, чтобы каждый, посмотрев на Наташу, вспомнил бы Ульяну Петровну после ее смерти, — утешенная и довольная, бабушка сказала:

— Ах вы, бедные мои! Ну идите в избу скорее, чем же мне жить-то, кроме вас!

В избе бабушка хотела уложить Антошку на кровать, но он потянулся и открыл глаза.

— Бабушка, — сказал он, — испеки нам блины. А то мы шли-шли...

— Да уж они давно готовы, — ответила бабушка. — Садись на лавку, я сейчас тебе новых испеку, старые остыли.

— И холодную квашонку давай, — попросила Наташа, — мы в нее блины будем макать.

— Сейчас, сейчас... Сейчас я у печки управлюсь и в погреб схожу, — говорила бабушка, — а потом оладушек вам наделаю, чаю согрею, а дедушка придет — обедать будем, я квасу вчера поставила, холодец сварила: чего же еще надо-то!

— Еще варенье земляничное и грибы, — сказала Наташа.

— И то, милая, и то, а то как же! — вспомнила Ульяна Петровна и пошла в выход за припасами, обрадованная, что добра у нее много и есть кого кормить.

В избе пахло горячей землей, сытными печеными блинами и дымом, а за окном светило солнце над незнакомой травой чужой деревни.

— Не сопи! — сказала Наташа Антошке. — Ты к бабушке в гости пришел, чего ты сопишь? Дай я тебе нос вытру...

Антошка умолк, он перестал сопеть и лишь понемножку дышал, сидя на лавке у пустого стола. Наташа заглянула в бабушкину светлую горницу. Там было чисто, скучно, две жирные мухи бились в оконное стекло, жужжа жарким жалящим звуком, большая керосиновая лампа висела над столом, убранном вышитой скатертью, как на праздник; кто-то стучал по сухой бочке далеко на деревне, нагоняя обруч, и заунывная жара светила в окно. Наташа подошла к углу, оклеенному газетами и картинками, чтобы посмотреть и почитать, что там есть. Одна картинка изображала дедушку, он был снят на карточке. Дедушка был молодым, с черными усами, в брюках, в жилетке, с цепочкой часов на груди, волосы на его голове были гладкие, как облизанные, и он был весь как богатый или городской, или как тракторист осенью, и глаза дедушки смотрели задумчиво вдаль, по-умному... Дедушка сидел на голой высокой скамейке, сделанной из кирпичей или камня, как памятник; одна нога дедушки доставала до земли, а другая нет, и он сидел неохотно, как будто нечаянно, не замечая вовсе, что на земле возле него валяется гитара, повязанная бантом. Позади дедушки росла роща, и в той роще был еще белый дом, красивый и большой, как Дворец пионеров, но дедушка не смотрел на него. Он поднял одну свою руку, в которой был револьвер, приставил револьвер к голове и держал его там, готовясь убиться, а другая его рука была положена на колено, где находился конверт с письмом, глаза же дедушки смотрели вперед хотя и задумчиво, но весело. Что ж это такое? Наташа еще не знала такой жизни у больших людей...

Она села на стул у стола со скатертью и стала разглядывать рисунок вышивки; у них дома такой скатерти не было, а им и не надо: мать Наташи каждый день моет стол и скребет его

ножом; у них и так чисто и хорошо. Петухи закричали на деревне, сначала один, потом другой и сразу все, и насадки заквохтали, собирая поближе к себе цыплят, поднялся ветер на дороге и понес душную пыль в пустые места.

— Наташка, меня мухи едят, иди сюда, — позвал сестру Антошка из другой комнаты.

— Пусть едят, сейчас приду, — ответила Наташа.

Она подошла к окну и прислонилась лицом к стеклу: ей хотелось увидеть на улице что-нибудь знакомое или родственное, как у них в колхозе были ей знакомы плетни, травы и деревья. Но под окном бабушки рос один только маленький куст; его листья были покрыты пылью, он слабо шевелил ветвями, он истомился от жары и суши и жил точно во сне или как умерший, чужой и грустный для всех, которому не нужен никто. Если бы Наташу оставили здесь жить навсегда, она бы умерла от печали.

— Отведи меня домой, я к маме хочу, — попросил Антошка.

Наташа вернулась к брату; он сидел скучный и оробевший.

— Я хочу домой, — сказал он. — Не надо блины, я кашу буду, ее мама вчера варила...

Наташа взяла один остывший блин с загнетки и спрятала его себе за пазуху.

— А то ты в дороге есть захочешь, ты всегда не вовремя просишь, — сказала Наташа брату и подняла его к себе на руки.

Бабушка еще была в погребе; низкая обомшелая дверь, ведущая в выход, обложенный сверху дерном, была открыта; старуха там говорила что-то себе на утешение и двигала кладью, доставая, наверно, варенье из потайной посуды. Наташа подошла к выходу и поглядела, куда скрылась бабушка. В погребе было темно, ничего не видно, и бабушка бормотала во тьме свои слова — должно быть, о том, что ей не хочется умирать, но она и так все время живет и живет.

Чтобы не загромоздить калиткой (она жалобно скрипела в петлях, будто ей было больно отворяться), Наташа, прижав к себе брата, направилась по тропинке на картофельный огород и оттуда через прясло вышла к ржаному полю.

Рожь росла тихо. В жаре и безмолвии колосья склонились обратно к земле, словно они уснули без памяти, и тень тьмы нашла на них с неба и покрыла их на покой. Наташа оглянулась в незнакомом поле, желая увидеть, что застило солнце. Дальняя молния в злобе разделила весь видимый мир пополам, и оттуда, с другой стороны, что за деревней Панютино, шел пыльный вихрь под тяжкой и медленной тучей; там раздался удар грома, сначала глухой и нестрашный, потом звук его раскатился и, повторившись, дошел до Наташи так близко, что она почувствовала боль в сердце.

Наташа вошла в рожь, чтобы спрятаться с Антошкой. Она хотела было наискось пробежать по ржи к дороге и по той дороге уйти от тучи домой к отцу и матери, но затем передумала, потому что боялась помять хлеб, и пошла по обочине ржи. Антошка уже заметил все, что делается вдаль, — и тучу, и вихрь, и молнию; он прижался к сестре и спрятал свою голову около ее горячей, как у матери, шеи.

Наташа вышла на дорогу и побежала по ней домой. У Антошки болтались ноги, он бил ими нечаянно по сестре, но старался сидеть спокойно и крепко держался — больше ему сейчас некуда было деться. Наташа спешила изо всех сил, ей лишь бы только донести Антошку домой, чтобы их не застала буря и гроза в чистом поле. Но рожь все еще была тихой, ветер сюда не дошел, — и, может быть, все обойдется, может быть, страшная туча истратится вся в дальнем месте и после нее откроется ясное прохладное небо. Наташа приостановилась, послушала, как все было смирно и сонно вокруг нее, как сухо звенели кузнечики, утихая постепенно, потому что тень и тишина все более покрывали землю и кузнечики думали, что наступает ночь, а затем Наташа пошла помаленьку вперед. Антошка молчал; он боялся того, что с ним будет теперь, но его интересовали туча и молния, и он хотел, чтобы случилось что-нибудь страшное, а он бы посмотрел, но только не умер. Антошка глядел через плечо сестры назад, на деревню, он еще видел избушку бабушки и можно было туда вернуться; он зажмурил глаза, испугавшись: рожь вдалеке, начиная от бабушкиного двора, вдруг пригнулась и полегла — на нее нашла буря.

— Наташка, спрячь меня поскорее куда-нибудь, — сердито сказал Антошка, — иль ты не видишь, что такое делается, полоумная какая!

— Дай вот домой дойти, я тебя там нашлепаю, — пообещала брату Наташа.

— Мы домой не дойдем, нас гром убьет, — прошептал Антошка. — Неси меня скорее, ты опять шагом идешь! Ты бежи!

Вихрь настиг детей и ударил в них песком, землей, листьями, стеблями травы и деревенским сором. Наташа спряталась с братом в рожь и села там на землю, но ветер пригнетал рожь столь низко, что Наташа временами видела дом бабушки, деревню и то, что было далеко в полях и на небе.

Вместе с вихрем, сквозь его горячую пыль, пошел град и стал бить хлеб, землю и Наташу с Антошкой, по ее непокрытой голове; тогда она прилегла на Антошку сверху и спрятала его голову в своих объятьях, тесно прижав всего брата к своему телу. Град бил по Наташе, по ее голове и по спине, но она молчала, зная, что Антошке теперь небольно и хорошо; он даже шевелился под нею немного, рассматривая там землю около ржаных корней и в старой пахоте.

Град переменялся на крупный прохладный дождь. Антошка соскучился прятаться под сестрой, ему хотелось посмотреть, что делается снаружи, хотелось намочнуть на дожде, и он сказал Наташе:

— Пусти меня, я выглянуть хочу.

— Лежи, а то тебя громом убьет, — ответила Наташа.

— Нет, он мимо, — сказал Антошка и вывернулся из-под сестры.

Наташа села и взяла на колени брата, укрыв руками его голову от ветра и дождя. Антошка приподнялся ногами на коленях Наташи и посмотрел вокруг, что где есть, терпеливо жмурясь от бури, от колосьев и водяных капель, бьющих его по лицу. Он увидел черное, близкое, бегущее небо, а ниже его висели серые облака, выпустившие из себя длинные волосы ливня, сдуваемые бурей в пустую сторону, как космы у нищей старухи, и эти облака быстро меняли свое тело, таяли и переставали жить на глазах у Антошки. Он решил подождать, что еще будет, но сестра велела ему спрятаться поближе около нее, а она согнется и сохранит его. Антошка хотел было и вправду зажмуриться и уткнуться головой в большую сестру, где у нее было тепло и сухо, но там ему было скучно, а здесь он все видел, и он, не послушав сестры, стал смотреть на небо и на землю еще лучше. Однако колосья ржи мешали ему видеть далеко, поэтому Антошка попросил Наташу, чтобы она подняла его высоко на руки, а он будет глядеть.

Наташа сняла с его головы свой платок, спрятала его себе за пазуху, вытерла рукавом платья мокрую голову Антошки и дала ему по затылку.

— Остудишься, — сказала она. — Ишь ты, бес какой: глядеть ему надо на вихорь! Я вот маме скажу, она тебя хлопнет по башке.

Антошка хотел ответить, что мать его по голове не бьет, а отец бьет только по лбу, но задохнулся от удара бури, от которой сразу полегла вся рожь и далеко стало видно вокруг, что там было сейчас. Антошка увидел деревню бабушки и луга за деревней, уже по ту сторону речки, в синем свете грозы и в ветре, и под ветром бежала к нему испуганная дрожащая трава.

Дождь вдруг перестал идти, но ветер дул по-прежнему, набравшись силы в пустых местах полей. И хотя теперь на земле должно быть темно от страшной тучи, однако все было видно, только свет стал другой: он был бледно-синий и желтый, но чистый и кроткий, как во сне; это светились травы, цветы и рожь своим светом, и они сейчас одни освещали поля и избы, потемневшие было под тучей, и сама туча была озарена снизу светлой землей. Увидя целыми и живыми траву, хлеб и избы, Антошка сам тоже перестал бояться тучи и молнии.

Ветер упал, стало тихо повсюду, но тяжелая рожь более не поднялась. Антошка поглядел туда, где живет бабушка, и он увидел ее. Бабушка вышла на высокое крыльцо избы, что выходило во двор, и осмотрелась в непогоде. Она тревожилась о пропавших внуках. «Аль уж они соскучились у меня? — думала она. — Да где уж тут скучать, ведь они только пришли: не пора еще! Наверно, чужую деревню пошли поглядеть, сейчас назад явятся. Кабы их вот дождь

не замочил — ишь темноты наволокло сколько!» О своем старике-дедушке Ульяна Петровна не беспокоилась. Он теперь все равно не придет, пока гроза не начнется и не кончится: он на молнию будет глядеть.

«Пойти кур покликать, пусть в сарае побудут», — решила Ульяна Петровна, но тут же присела от удара грома, близко повторившегося затем еще несколько раз, так что слабая дверь в избу сама отворилась и затворилась (если бы хозяин больше заботился о своем доме, дверь не стала бы распахиваться от одного звука), а бабушка как села, так и не встала, пока не утихли самые дальние его раскаты.

Антошка увидел молнию, вышедшую из тьмы и ужалившую землю. Сначала молния бросилась вниз далеко за деревней, но там ей было плохо или некуда было ударить, потому что молния подобралась обратно в высоту неба, и оттуда она сразу убила одинокое дерево, что росло посреди сельской улицы около деревянной закопченной кузницы. Дерево вспыхнуло синим светом, точно оно расцвело, а затем погасло и умерло, и молния тоже умерла в дереве.

От накатившего грома зашевелилась полегшая рожь, а бабушка опустила совсем на крыльцо и перестала ходить по хозяйству туда и сюда, а Антошка засмеялся на бабушку, что она боится.

Вслед за молнией на землю пролился дождь, густой и скорый, так что стало сумрачно вокруг, и бабушку уже было не видно за шумной мглой дождя. Но высокая молния снова осветила рожь и деревню, и тогда Антошка увидел черный дым и красный огонь в середине дыма, который медленно подымался из-под крыши старой кузницы, но огонь не мог разгореться, потому что его заливал дождь. Антошка понял, что молния, убив дерево, сама не умерла, но прошла через корни дерева в кузницу и снова стала огнем.

Наташа обхватила брата, прижала его к себе, как сумела, и вышла с ним из ржи на дорогу; она хотела бежать поскорее обратно к бабушке, чтобы спрятать Антошку от дождя и молнии, но дождь перемежился, капли стали падать редко, опять начало парить теплом в воздухе, и снова было душно и скучно около чужой деревни. Наташа остановилась на дороге и опустила брата наземь.

Крыша кузницы теперь занялась живым огнем: пламя сушило намокшие доски и горело. Уже бежали люди на деревенский пожар, иные с ведрами воды, а другие с топорами, и скрипел ворот в ближнем колодце, а некоторые крестьяне стояли в отдалении у своих дворов и ничего не делали — наверно, они думали, что пожар обойдется и перестанет сам по себе, — они не знали, что главная, большая туча, богатая грозой и ливнем, лишь подходила к деревне Панютино: она сейчас была за рекою, черная до синевы, тучная и тихая, и в ней сверкали молнии, но гром их был еще не слышен.

Антошка видел: оттуда, из-за реки, шла страшная долгая ночь; в ней можно умереть, не увидев более отца с матерью, не наигравшись с ребятами на улице около колодца, не наглядевшись на все, что было у отцовского двора. И печка, на которой Антошка спал с сестрой в зимнее время, будет стоять пустой. Ему было жалко сейчас их смирную корову, приходящую каждый вечер домой с молоком, невидимых сверчков, кличущих кого-то перед сном, тараканов, живущих себе в темных и теплых щелях, лопухов на их дворе и старого плетня, который уже был на свете — ему об этом говорил отец, — когда Антошки еще вовсе не существовало; и этот плетень особенно озадачивал Антошку: он не мог понять, как могло что-нибудь быть прежде него самого, когда его не было, — что же эти предметы делали без него? Он думал, что они, наверно, скучали по нем и ожидали его. И вот он живет среди них, чтоб они все были рады, и не хочет помереть, чтоб они опять не скучали.

Антошка прижался к сестре и заплакал от страха. Он боялся, что горит кузница, идет туча и снова сверкает гроза, которая ищет землю, чтобы убить дерево и зажечь их старую избу в колхозе. Приникнув к сестре, Антошка почувствовал, что она пахнет так же, как пахло все в их избе: и хлеб, и сени, и деревянные ложки, и подол матери.

Наташа осмотрелась вокруг. Она увидела, что туча еще далеко и она успеет уйти с Антошкой домой.

— На, трескай, — сказала она и, вынув из-за пазухи остывший блин, дала его брату.

Антошка сел к сестре за спину и, обхватив одною рукой Наташу за шею, стал жевать блин и скоро сжевал его целиком, а сестра все время бежала домой, стараясь не упасть под тяжестью брата.

Тьма и туча, однако, вскоре догнали детей и нашли на них. Опять начался дождь, и после каждого раздраженного света молнии, после каждого удара грома дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой, что разрушал и взворачивал ее, словно дождь пахал поле.

Наташе стало трудно дышать в гуще ливня; она пересадила Антошку со спины к себе на руки, чтобы в него меньше падал дождь, и снова побежала вперед.

Чаща ливня срасталась перед нею все более непроходимо, даже идти шагом было сейчас трудно и больно, будто детей окружал сумрачный, твердый и жесткий лес, обдирающий их тело до костей.

Шум ливня заглушал удары грома, только молнии были видны. Иногда молний было столько много, что они сливали свой свет в долгое сияние, но это сияние освещало лишь бугры могучего мрака на небе, отчего было еще страшнее.

Наташа измучилась вся; она остановилась и опустила вымокшего Антошку на землю. Сейчас она не знала, что ближе — мать с отцом или бабушка, сколько она отошла от бабушкиной деревни и сколько осталось идти домой.

Наташа села возле ржи и изо всех сил прижала к себе Антошку, чтобы хоть он остался живым и теплым около нее, если сама она умрет. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет, — и тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтобы ее услышали и помогли; ей показалось, что хуже и грустнее всего было бы жить последней на свете. Ведь, может быть, и дом их в колхозе сгорел от молнии и двор смыт дождем в пустое песчаное поле, а мать с отцом теперь уже умерли. И, приготовившись, чтобы скорее умереть самой, Наташа оставила Антошку и легла на землю вниз лицом; она хотела умереть первой в грозе и ливне, прежде чем умрет ее брат Антошка.

Но маленький брат ее, посидев немного под дождем, сказал сестре:

— Давай яму копать, мы туда спрячемся и проживем. Ты гляди, тут песок... Не плачь, а то я боюсь без тебя...

Вымокшие, похуевшие дети стали рыть руками яму подле ржи, где была легкая почва. Но, вырыв небольшое углубление, брат и сестра увидели, что сильный дождь дальше сам копает им яму и своей силой вымывает и уносит ручьем песчаную землю и поэтому спрятаться им туда было нельзя.

Наташа и Антошка притаились под ливнем на голой земле, сжавшись и укрывая руками свои головы.

— Зачем ты меня к бабке-старухе в гости водила? — сказал Антошка сестре. — Дома лучше всего сидеть, я люблю дома... А ты девка-гулена!

— Знай помалкивай лучше! — приказала Наташа. — Кто велел поскорей от бабушки домой идти? Я и блинов ничуть не покушала.

— Я у бабки соскучился, — смиренно произнес Антошка.

Молния засветилась и вздрогнула несколько раз совсем рядом с Наташей и Антошкой, где-то в ближней полегшей ржи. Брат и сестра, боясь грома, загодя схватились руками друг за друга и прильнули лицами один к другому — Антошка к груди сестры, а она к его плечу, — чтобы ничего больше не видеть. Но в шуме ливня гром прозвучал нестрашно.

— Опять мимо, — сказал Антошка.

Дети давно продрогли от дождя и теперь прижимались друг к другу, желая согреться; они уже начинали привыкать мучиться, и им дремалось ко сну.

— Вы кой-то? — хрипло спросил их близкий чужой голос.

Наташа подняла голову от Антошки. Склонившись на колени, возле них стоял худой старичок с незнакомым, ничем не обросшим лицом, которого они встретили нынче, когда шли в гости к бабушке. Сейчас этот дедушка, хранясь от дождя, надел кошелку на голову, а щавель, наверно, выбросил прочь.

— Сморились аль испугались, что ль? — спросил у Наташи старик, подвигаясь к детям еще ближе, чтоб они его слышали.

— Нам боязно стало, — сказала Наташа.

— Да как же не боязно-то? — согласился прохожий человек. — Ишь жуть какая — и льется, и гремит, и сверкает. Я-то ведь не боюсь от старости лет, от глупости, а вам чего же: вы бойтесь, вам это надо.

— А мы уж привыкли бояться, — произнесла Наташа. — Теперь нам не страшно. А ты сам кто, ты откуда?

— Я дальний, — ответил старичок. — Верст двадцать отсюда будет: племхоз «Победа», не слыхала?.. А я оттуда, я там по племенному делу рассыльным агентом служу: куда что пошлют, что скажут — я готов. А нынче в колхоз «Общая жизнь» ходил, мне велели сказать, чтоб колхоз племенного быка себе взял. Им бык полагается. Пускай погонщика шлют.

— Сказал? — спросила Наташа.

— Сказал. А сейчас вот назад ворочаюсь.

Антошка встал на ноги и с интересом детства рассматривал чужого маленького деда, стоявшего на вымокшей земле на коленях, с кошелкой на голове. Ливень перешел в сплошной частый дождь с пузырями, и молнии вспыхивали уже далеко в стороне, откуда гром не успевал доходить сюда, умариваясь в дороге.

— Ну, иди, нам быка давно в колхоз надо, — сказала Наташа.

Старик молча глядел на детей под сумрачным долгим дождем.

— Сейчас тронусь, — неохотно произнес он. — Мне пора.

Дед встал с земли и стал заправляться в дальнюю дорогу. Он крепко привязал свою кошелку обратно за спину и снял шапку с головы.

— Вам не дойти, — сказал старик детям. — Там дорогу теперь распустило, там земля густая, добрая, а дождь того гляди припустится...

Он надел свою шапку на голову Антошки и, согнувшись, касаясь руками земли, велел ребенку ползть к нему в кошелку за спиной, сидеть там и держаться. Антошка сейчас же забрался туда, и ему стало в кошелке мягко и хорошо.

— А куда ты понесешь-то его? — быстро спросила Наташа, готовясь изо всех сил вцепиться в лицо старика. — Тебе кто наказал его брат?

— Понесу к отцу-матери его, куда ж еще! — ответил дед. — На ваш колхоз. И тебя туда же.

Старик еще раз пригнулся, взял Наташу себе на руки и пошел под дождем по дороге в «Общую жизнь», унося на себе двоих детей.

— Ты не бойся, — сказала Наташа брату, удобно сидевшему в кошелке против нее. — Я за ним буду глядеть.

— Он не как ты, он сильный, — сказал сестре Антошка.

У старика надулись жилы на шее, он сгорбился, дождь и пот обмывали его тело и лицо, но он шел привычно и терпеливо по грязи и по воде.

Дети молчали, ожидая, когда увидят свою избу в колхозе. Наташа боялась про себя, что, может быть, их двор уже сгорел от молнии. Старик из сбереженья сил тоже ничего не говорил, лишь однажды он прошептал про себя:

— Спасибо — град не пошел. Он бывает с голубиное яйцо — побил бы детей.

Дождь лился мелкими частыми каплями; грозы уже не было. И вскоре Наташа увидела сквозь дождь прясло крайнего двора своего колхоза; здесь жили Чумиковы. Она не знала, что колхоз их так близко, и улыбнулась от радости. Значит, все было цело и пожара нет, а то бы

люди бежали на пожар. А может быть, их дом уже сгорел и потух, — и Наташа опять загорюнилась.

Но вон ветла стоит, она растёт около дома Наташи, она жива; вон соломенная крыша на ихней избе и труба с железным петушком... Наташа отвернула свое лицо от Антошки и осторожно вытерла его рукавом от дождя и слез.

Около отцовского двора Наташа спрыгнула на землю. Антошку же старик внес в кошелке за спиной в самые сени избы.

В горнице родителей Наташи, пережидая дождь, сидело много людей. Отец Наташи угощал их чаем с сеяным хлебом и наложил полную сахарницу колотого сахара. Здесь был председатель колхоза Егор Ефимович Проворотов, дедушка — муж бабушки, и незнакомый человек, неизвестно кто, ненужный кто-нибудь.

Мать Наташи раздела дочь и Антошку и дала им на смену сухую одежду, обещая, что больше никуда их в гости сроду не пустит. А старичок, выжав с себя немного воды в сенях, уже сидел за столом в горнице, пил чай и рассказывал, как было дело. Председатель колхоза Егор Ефимович его знал — старик из племхоза только что был у него нынче относительно быка.

— Как же так! — сказал Егор Ефимович, говоря отцу Наташи. — На дворе гроза, ливень, буря была, а ты детей в Панютино послал?

— Они ушли, еще ведро было, — тихо ответил отец.

— А после ведра враз буря нашла и гроза, — говорил Егор Ефимович, — а ребяташки могли не успеть добежать до Панютина. Вишь ты как! А мы сидим здесь второй час, балакаем, а ты и не вспомнил про девчонку с мальчишкой ни разу.

— Чего зря говорить! — с досадой ответил отец. — Не случилось с ними ничего, целыми пришли.

— Да это-то хоть так! — согласился председатель и поглядел на Антошку с Наташей, которые теперь стояли у притолоки и глядели на гостей, — им было сейчас опять хорошо жить. — И родной дед, старый долдон, — говорил председатель, — знает, что к нему внук со внучкой в гости пошли, так он сам по грозе к зятю чай пить пришел и сидит — не беспокоится...

Дедушка Наташи молчал, и все другие люди тоже.

— Я спозаранку сюда в кооператив явился, — промолвил дедушка. — Хотел крючок сазаний купить, и к вашему шорнику у меня дело было, мы с ним кумовья... А в нашей многолавке нет тебе никаких крючков — вся рыба в реке цела живет, а мои снасти никуда стали. Думал в вашем кооперативе поживиться.

— Дело прошлое, — мирно произнес Егор Ефимович. — Дай-ка мне назад документ в племхоз, что я тебе давеча дал, — и председатель протянул руку к отцу Наташи.

Отец несмело выдал председателю бумагу.

— Гляди, Ефимыч, бык племенной, с ним надо уметь, — сказал отец. — Аль и быка теперь не доверяешь, что мои ребяташки намокли?

— Пока нет, — ответил председатель, — не доверяю.

— Так кто ж тебе погонит-то? — интересовался отец. — В колхозе, кроме меня, едва ли кто отвечать за такое дело возьмется...

— А я вон с ним, может, слажусь, — указал председатель на старичка из племхоза, хлебавшего чай внакладку.

— Право твое, — согласился отец. — Ишь ты — какой бдительный! Иль заботу о малолетних кадрах почувствовал? Но бык — дело одно, а девчонка с мальчишкой — совсем другое.

— Верно, — произнес председатель, пряча документ к себе, прочитав его весь снова. — Ребяташки — дело непокупное, а бык не то, быка и второй раз можно за деньги купить...

— Ух ты, во, гляди-ко! — с радостью всей своей души сказал вдруг старичок из племхоза и, отодвинув блюдце, нечаянно бросил себе в рот еще кусочек сахару.

Он перестал пить чай и засмотрелся на председателя, рыжеватого крестьянина лет сорока пяти, медленно глядящего на свет серыми думающими глазами.

Наташе с Антошкой надоело слушать разговор, и они вышли на крыльцо.

Дождь еле-еле капал. Стало смиренно и сумрачно кругом повсюду; листья деревьев и трав, уморившись, висели спящими до будущего утра. Лишь далеко-далеко, в чужих и темных полях, вспыхивали зарницы, точно это смежались глаза у усталой тучи.

— Давай опять завтра к бабке в гости пойдем, — сказал Антошка сестре. — Я не боюсь теперь. Я люблю грозу.

Наташа ничего не ответила брату. Ведь он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя.

Мать отворила дверь и позвала своих детей есть. Она уже сварила для них картошку и полила ее сверху яйцами, а потом сметаной. Пусть дети растут и поправляются.

ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

1

Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого, забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами.

Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел.

Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу.

Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном исступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзией.

Шестнадцать лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца.

И Мария Никифоровна стала курсисткой.

Прошло четыре года — самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучающие его тревоги; никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной.

Была, конечно, у Марии и любовь, и жажда самоубийства, — эта горькая влага орошает всякую растущую жизнь.

Но все минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами.

Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район — село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней.

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу — Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово.

В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт.

Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным.

Среди дня, при безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью.

Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни.

К вечеру буря кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни.

В Хошутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру.

Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник — шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много труда и ума.

Хошутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песка, надутого с плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов.

Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, — потому что расчищенные места снова заваливались песком, — молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли.

Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья.

Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье.

Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать.

Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким, жалящим песком, захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты.

Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам.

К Новому году из двадцати учеников двое умерли, и их закопали в песчаные зыбкие могилы.

Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной начала теряться и потухать.

Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей.

Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела.

И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю.

Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное.

Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ.

В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело.

А за помощью следует обращаться к участковому агроному.

Мария Никифоровна рассмеялась:

— Агроном жил где-то за полтора верста и никогда не бывал в Хошутове.

Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания.

4

Прошло два года. С большим трудом, к концу первого лета, удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы — месяц весной и месяц осенью.

И уже через год Хошутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными лентами окружили Хошутово со стороны ветров пустыни и зауютли неприветливые усадьбы.

Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной борьбе с пустыней.

У нее было много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобозев, — настоящие пророки новой веры в пустыне.

Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные меж полосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожаи, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растение от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили намного урожай трав, а сосна — дерево попрочней.

Хошутово из века страдало от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными киззяками и коровьими лепешками.

Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья.

Та же шелюга дала жителям прут, из которого они научились делать корзины, ящички, а особо искусные — даже стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму две тысячи рублей приработка.

Поселенцы в Хошутове стали жить спокойнее и сытее, а пустыня помалости зеленела и становилась приветливой.

Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи.

Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом.

На третий год жизни Марии Никифоровны в Хошутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда.

В Хошутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами: через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет хошутовская степь паровала, и вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя.

Но кочевники почему-то запоздали: они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность.

— Все равно придут, — говорили старики. — Беда будет.

Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла — птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север, к естественным водоемам. 25 августа в Хошутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постукивая в ставни:

— Кочуй прискакали!..

Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте: то скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада.

Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны — все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала: кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто.

Хошутово замерло, поселенцы лепились друг к другу и молчали.

Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников.

Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал:

— Травы мало, людей и скота много: нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается.

— Все равно вы негодяй! — сказала Нарышкина. — Мы работали три года, а вы stravили посадки в трое суток... Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить...

— Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник.

Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом.

В округе ее выслушал завокроно и ответил:

— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хошутове обойдутся и без вас.

— Это как же? — изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, не сравнимом с этим начальником.

— А так: население уже обучилось бороться с песками и, когда уйдут кочевники, начнет шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?

— Что это за Сафута? — спросила Мария Никифоровна.

— Сафута — тоже село, — ответил завокроно, — только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего — пески растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать...

— А при чем тут я? — спросила Нарышкина. — Что я вам, укротительница кочевников, что ли?

— Послушайте меня, Мария Никифоровна, — сказал заведующий и встал перед ней. — Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна?.. Посадки же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже... Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту: глушь, даль — все отказываются. Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна?..

Мария Никифоровна задумалась:

«Неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелуговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни?..»

А где же ее муж и спутник?..

Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племен пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно:

— Ладно. Я согласна... Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы — дожидайтесь!

Завокроно в удивленье подошел к ней.

— Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то стыдно... Но пустыня — будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благородны, когда в пустыне вырастет дерево...

Желаю вам всякого благополучия.